

Мите и Саше — чтобы помнили нас

Ирина Шильгина

ХРОНИКИ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

И я говорю ей: войди...
Будь моей гостьей.
Дай собраться перед дорогой.
Присядь...

Афинагор I

ПРОЛОГ

Гостья

Кира проснулась, повернулась на спину и глубоко вздохнула. За окном уже вовсю разгорелось позолоченное солнцем, морозное утро. Сквозь полуприкрытые веки она стала смотреть на пушистые облака, вальяжно плывущие по небу, и представлять, как все те, кто покинул ее безвозвратно, теперь беззаботно существуют в этой бескрайней голубизне, где нет боли и старости, и, бестелесные, воздушные, перепрыгивают с одного облака на другое, радостно окликая друг друга.

Окончательно стряхнув сон, она принялась обдумывать, чем сегодня занять время, чтобы оно не тянулось уныло, как жвачка, как нытье комара в ночи, заставляя сосредоточиваться на скрипучих суставах, на сердце, трепыхающемся в груди, как мокрый птенец, и на прочих проблемах изношенного, доживающего свой срок тела.

Она заставила себя встать, позавтракала и занялась «разбором завалов» – так она называла возню с бумагами родных. В семье все были людьми пишущими, и работу Кира придумала себе немалую. Она листала тетрадки дневников, аккуратно расправляла пожел-

тевшие листки писем — истончившиеся, хрупкие свидетельства ушедшего времени.

Лет десять тому назад на выставке современного искусства она видела инсталляцию — дневничок какой-то старушки. Вся выставка, по замыслу устроителей, должна была поведать о конце многовековой эры Бумаги — еще недавно — главного носителя слова, всемогущего хранителя человеческой памяти, мыслей, чувств, страстей. Однако царство Бумаги заканчивалось, уступало место холодна-тому свечению мониторов, и дневничок — тетрабочка в клетку — лежал в прозрачной витрине трогательно и беспомощно, как распластанная под хлороформом бабочка. Незамысловатые записи, сделанные неуверенным старушкиным почерком, бесстыдно прое-ктировались на большой экран на стене:

«Сегодня стояла целый час в очереди за гречкой. Давали только по 1 килограмму в руки»;

«Вчера вечером зашла к Нине Анатольевне с первого этажа. Пробовала ее огурчики — на мой вкус, слишком много соли».

«Два часа стояла за песком, потом еле добрела до дому. Давали ограниченно, но на смородину должно хватить».

Аннотация на стене поясняла концепт произведения искусства. Сын-художник, разбирая мамин стол после ее смерти, нашел эту тетрабочку и представил ее взорам почтеннейшей публики, как свидетельство канувшей в Лету эпохи, каковым, пожалуй, оно и впрямь являлось.

А выставочный зал время от времени пронизывал протяжный звук вращающегося цилиндрического устройства, похожего на во-рот деревенского колодца. К нему были прикреплены отрывные

календари прошлых лет. Они топорщили дрожащие странички, будто пытались привлечь внимание к тому, что на них написано: мелькали даты, описания исторических событий, кулинарные рецепты, женские советы. Но безостановочное вращение продолжалось, и, повинувшись ему, календарики схлопывались и проваливались в щель между воротом и стеной, унося с глаз долой набранные петитом свидетельства навсегда ушедшего времени.

Теперь, разбирая домашний архив, Кира все вспоминала этот плачущий звук в полупустом прохладном зале. Вот и эти тетрадки, листки, письма, которые она сейчас перебирает и читает, – такие же лоскутки оборванных календарей, навсегда скрывшихся во временной дали. Но, может быть, – тешила она себя в следующую минуту, – ее теперешняя возня не совсем бессмысленна? Может быть, сын и племянник когда-нибудь, в недостижимом для нее будущем, заинтересуются, прочтут, вспомнят своих «предков» и, прежде чем выбросить, усмехнутся с теплой печалью.

Кира осторожно положила очередной листочек в прозрачный файл и поглубже вздохнула: что-то сердчишко сегодня никак не давало покоя. «Ишь, расшалилось, – шутливо-серьезно попеняла ему Кира и решила: пойду, пройдуся, подышу».

Не торопясь, Кира обошла всю громаду их старого, постройки середины прошлого века дома, с наслаждением вдыхая воздух, слегка пряный от ароматов неуклонно приближающейся весны, и, уже подходя к подъезду, ощутила нехорошее покалывание за грудиной. Подкатила тошнота, лицо покрылось липким потом. «Домой! Скорее! Только бы на улице не упасть! – отчаянно заматались мысли в голове. – Позвонить сыну? Но он пока приедет!» – оконча-

тельно поддалась она панике, чувствуя, что ноги делаются ватными и отказываются служить. Тут кто-то крепко подхватил ее под руку. Краем глаза она увидела полную незнакомую женщину. «Кто такая? Не из нашего подъезда...» – на краешке угасающего сознания возник совершенно ненужный вопрос.

Потом Кира обнаружила себя лежащей на своей тахте под мягким ласковым пледом. Около кровати кто-то сидел. Она подняла голову и увидела незнакомку, свою спасительницу. Как они попали в квартиру, Кира совершенно не помнила, но уточнять подробности не было сил. Очевидно, в полубеспамятстве назвала номер квартиры и вынула ключи из кармана.

— Спасибо вам, – выдохнула Кира. Она чувствовала страшную усталость, однако боль и тошнота прошли, только в груди немного покалывало.

Незнакомка, не говоря ни слова, покачала головой, давая понять, что, дескать, не стоит благодарности. Повисло молчание. Гостья сидела в широком кресле у тахты, и, по-видимому, уходить не собиралась. «Наверное, не хочет оставлять меня одну, – догадалась Кира. – Есть еще отзывчивые люди на свете», – и вслух сказала:

— Сейчас позвоню сыну, он приедет, вы не беспокойтесь. Спасибо вам.

Честно говоря, ей хотелось, чтобы незнакомка ушла, хотелось остаться одной, зарыться в плед и ждать родного человека. Но гостья, очевидно, уходить не собиралась, она восседала в кресле, заполнив его своим грузным телом. Такая настырная заботливость чуть раздражила Киру, но она тут же устыдилась своей неблагодарности и сказала:

— Может... э-э-э... чайку? Как у вас со временем?

Незнакомка вскинула руку, глянула на массивные часы в корпусе из белого металла – тяжелые, очевидно, стальные, с черным, четким циферблатом – и странно усмехнулась:

— Со временем у нас все в порядке. Не опоздаем.

Ответ был такой неожиданный, что Кира струхнула. Что это значит? Куда «не опоздаем»? Кто же все-таки эта тетка? А вдруг воровка или наводчица? Она много раз слышала о том, как мошенники разных мастей охотятся на одиноких стариков, и на всякий случай повторила, уже как угрозу:

— Сейчас сыну наберу, он скоро приедет.

Пусть знает, что она не одинокая старушка, есть кому за нее заступиться. Однако гостя на известие о сыне одобрительно кивнула, продолжая молчать, и это молчание вдруг успокоило Киру. Была бы какая-нибудь прощелыга, наверное, болтала бы без устали, голову бы морочила, а раз молчит – стало быть, и впрямь проявляет заботу, готова прийти на помощь, если опять случится приступ.

У Кире отлегло от сердца, и она гостеприимно махнула рукой в сторону кухни. Они прошли в Кирину небольшую тесноватую кухню и уселись за стол. За окном, чуя близкую весну, носились вороны, громко каркали, чего-то делили. Кира захлопотала над чайником, достала чашки, одну поставила перед гостьей. Та вдруг так остро и пытливо глянула Кире в глаза, что Кира вздрогнула. Страх горячей волной разлился в груди, побежал по жилам, пальцы противно задрожали. «Фи, как стыдно! – отругала себя Кира. – Трусиха!» – и, чтобы скрыть свою слабость, стала шумно прихлебывать чай.

Гостя сидела напротив нее, не притрагиваясь к своей чашке, и скользила равнодушным взглядом по кухонной мебели. Было совершенно очевидно, что она не сторонница пустой болтовни. «Что ж, так и будем сидеть? – маялась Кира. – Надо бы поговорить о чем-нибудь». Наконец она напустила на себя задумчиво-романтический вид, отхлебнула глоток чая и мягким тоном, располагающим к неспешному доверительному разговору, произнесла:

— Сердце что-то все время пошаливает... М-да... Что ж, возраст не обманешь.

Гостя молчала, но Кире показалось, что она кивнула.

— Уж восьмой десяток разменяла, – продолжала Кира. – М-нда-а... Жизнь прожита.

«Зачем я ей все это говорю? – вдруг спохватилась она – Совершенно незнакомому человеку?». Но почему-то продолжила:

— Растила сына... Работала... Любила... Хотела вот книжку написать в память о нашей семье – о них, обо всех... Вот, посмотрите-ка, – и, обрадовавшись, что нашла способ забыть о неприятном, отчего-то тревожном чувстве, вызванном присутствием гостя, Кира метнулась в комнату и принесла увесистую папку, полную старых писем, фотографий и дневников.

— Видите, сколько они всего оставили после себя! Здесь все – судьбы, характеры... Вот, пожалуй, самое начало – Кира аккуратно развернула небольшую хрупкую бумажку – письмецо прабабки прадеду, помечено 1901 годом.

"
Дорогой Адам!

Первым долгом уведомляю тебя, что мы все здоровы и дела

" " 0' " " . " " 0' 0' ."

напиши нам, как идет твое лечение – к лучшему или нет. И вообще, как живет в Харькове, какие там погоды. У нас сухо и тепло как в мае, гуляют в летних платьях. Получил ли ты посылку от меня? Напиши, как здоровье всех наших. Затем целуют тебя все дети – Клара, Миша, Зитточка и малыш Сюнька. Я Варвару рассчитала и наняла ту девушку, что у нас жила два дня за 4 р. в месяц с бельем. Желаю всего хорошего тебе, Ева.

Тут Кира взглянула на гостью и улыбнулась, допустив в этой улыбке малую толику иронии:

— Жили-поживали в городе Николаеве муж и жена. Наверное, любили друг друга, называли себя именами, предначертанными свыше, – «Адамом» и «Евой». Как в доброй сказке. Было у них четверо детей – два сына и две дочери, и звались они в домашнем обиходе ласковыми теплыми именами: старшая, Клара – Калей, брат – Мишей, другая сестра – Зиттой, младший братик Александр – Сюнькой.

Сказка закончилась довольно быстро – со смертью «Евы» в очередных, пятых по счету родах. И было это, мне кажется, Евиным счастьем, потому что она ушла и не узнала, что выпало на долю ее «Адаму» и детям. С разбойничьим посвистом накатил на них бешеный революционный век, и ни один не ушел от Судьбы, ни один не дожил до старости.

Однажды Сюнька, потрясенный гибелью младшей из сестер, Зитты, написал Кале:

Семья наша – точно камень, увязший в омуте. Жизнь не гладит по головке...

«Да, – вздохнула Кира, – жизнь никого из них не гладила по головке. Каждому довелось испытать столько потерь и мучительной душевной смуты, что отчасти, будто по наследству, досталось и нам – их детям, внукам, правнукам».

Кира вновь осторожно взглянула на гостью, в ее большие, бесцветные глаза – не усмехается ли? Обычно она в общении с другими людьми, даже с близкими друзьями всегда блюла некоторую дистанцию, но эта незнакомая молчаливая женщина слушала, похоже, с интересом, даже иногда слегка кивала головой, будто одобряла проделанную Кирой работу. У Киры потеплело на душе, она приободрилась и заговорила свободно, не всегда давая себе отчет, с кем она говорит – то ли с гостьей, то ли сама с собой. Так старики обычно рассказывают о прожитом, будто их помимо воли несет по реке памяти, то и дело затягивая в боковые протоки семейных историй, слышанных, возможно, с детства, но только сейчас, к концу жизни осознанных, приобретших неожиданную ценность и смысл.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ НА ВЕТРАХ ЛЮБВИ

Глава 1.

О роковой роли нижнего белья

— Странно, но свою первую любовь я помню довольно хорошо, хотя мне было тогда лет десять, может, чуть больше, — откровенничала Кира, радуясь тому, что ее слушают и не перебивают — ведь перед посторонним человеком зачастую легче душевно обнажиться, чем перед близким. — Он был постарше года на три, юный хулиган, пятиклассник-второгодник, притча во языцех у учителей и родителей. Учителям он хамил, учился еле-еле, лихо плевал сквозь стиснутые зубы, пронзительно свистел на всю улицу, подворовывал деньги у одноклассников, нагло отнимал бутерброды у младших, распивал с друзьями в подъезде какую-то дешевую алкогольную мерзость и в темных уголках тискал девчонок, тех, что были постарше и посговорчивее, беззастенчиво запуская руки в самые укромные места девичьих тел. Все это, такое мне чуждое, непонятное, пугающее, в сочетании с довольно симпатичной внешностью, манило меня чрезвычайно.

Наконец однажды, зимним вечером, мне удалось привлечь его внимание. Это произошло на катке во дворе дома. — Тут Кира подперла голову рукой, чуть прикрыла глаза и вспомнила — так живо и ясно, что сама удивилась, — искрящийся в свете фонарей снег, веселое повизгивание коньков, говор и смех высыпавшейся на лед детворы. — Одни показывали недюжинное умение и даже крутили

пируэты, – продолжала она рассказывать молчаливой гостье, – другие не так уверено держались на этой коварной поверхности. Про меня нельзя было сказать, что я каталась плохо. Буду честнее, если скажу, что я не каталась вообще. Коньки-«гаги» разъезжались в разные стороны, мышцы голеней болели нестерпимо, я ползла по льду и падала каждые пять минут. Вдруг над самым своим ухом я услышала знакомый голос, – и Кира широко открыла глаза, вновь удивившись ярким, непоблекшим краскам своих детских воспоминаний. «Чего ж так слабо-то?» – произнес он, и мое сердце ушло в пятки. «Я первый раз», – попыталась я оправдаться, въехала в сугроб и упала на четвереньки. И тут он проявил неожиданную галантность. «Ну-ка, давай помогу», – заботливо произнес он, схватил меня за локоть, привел в вертикальное положение и стал отряхивать снег с моих штанов. Его рука, в своей будто бы заботе, постукивала меня по ногам, поднимаясь от колен все выше, а я, струсившая и счастливая одновременно, стояла, окатываясь горячими волнами стыда и сладчайшего, неведомого удовольствия. «Слышь, может, пойдем, погуляем?» – вкрадчиво предложил он мне. От прикосновения его руки и звука глуховатого голоса я вспыхнула, как от спички.

С того вечера я начинала плавиться от жара всякий раз, когда его небольшая фигура в мятой, скособоченной форме мелькала в школьном коридоре. Его имя упоминалось у нас на уроках исключительно в устрашающих целях. «Ты что же, – говорила наша классная кому-нибудь из проштрафившихся моих одноклассников, – хочешь быть как ...» – и она произносила заветное для меня имя, а я утыкалась глазами в тетрадку, чтобы не выдать своего волнения.

«Хочешь, – продолжала классная, – чтоб и твоих родителей вот так же вызывали на педсовет?». Провинившийся краснел и испуганно качал головой, и у меня начинали дрожать пальцы, сердце просто выскакивало из груди, и лицо покрывалось испариной от страха за любимого человека: вдруг его выгонят из школы и отправят в интернат для трудновоспитуемых?!

— Принято считать, – говорила Кира, поглаживая пальцем цветок на клеенке, – что в детском возрасте переживания еще легки, как облачко, и без следа рассеиваются от покупки нового платица или хорошенькой сумочки с сердечком. Возможно, что так и бывает у хороших, *от природы чистых* натур. Но мои переживания – уверяю вас – были самые *настоящие*! Это был первый и настойчивый призыв плоти, совсем еще детской, но уже чувствующей что-то обжигающее, притягательное и... постыдное. Я понимала, что мою любовь надо таить и скрывать ото всех. Потому что чувствовать *это* – запретно и недостойно! Надо стараться хорошо учиться, слушаться взрослых, заниматься на пианино, читать книжки, в которых любовь – всегда высокая, безгрешная – зная, выходящая на ветру и обещанное тому, кто не боится испытаний и мук.

Слово «секс» в ту пору было почти неведомо, полагаю, что и взрослые-то немногие его знали и уж тем более произносили вслух, – Кира скривила губы в усмешке, доверительно захихикала и чуть искоса поглядела на гостью, надеясь на встречную человеческую улыбку, понимающий кивок головы – гостя, по-видимому, была ненамного ее моложе. Но та продолжала хранить все то же величавое молчание, ни тени улыбки не мелькнуло на ее губах. От

этого безмолвия Кирина душа вновь заняла от страха, как от зубной боли. «Ну что сидит и молчит? И не уходит никак? – занервничала она и, стараясь справиться с новым приступом этого необъяснимого страха, откашлялась, придала голосу побольше бодрости и продолжила:

— «Секс» – словечко, обозначающее определенный сорт отношений, запрещенных подросткам, и разрешенных по достижении восемнадцати лет. В результате этих отношений могут появиться дети. Впрочем, могут и не появиться. Во всяком случае, все названо своими именами, предельно открыто и прозаично. Мы же, тогдашние школьники, уже кое-что подозревающие, кое-что обсуждающие, употребляли емкое слово «*ЭТО*». Мы произносили его особым, приглушенным голосом и подкрепляли многозначительным взглядом и выразительным покачиванием головы. «*Это*» – означало не просто физиологическое соитие, а целый неизведанный мир отношений, недоступную, пугающую волшебную тайну, огонь, манящий в неизведанное пространство безлунной ночи.

— Почему мне всегда нравились эдакие «мальчиши-плохиши»? – размышляла Кира вслух. Она сумела подавить свою необъяснимую тревогу, погрузилась в воспоминания и обращалась уже не столько к госте, сколько к самой себе. – Впрочем, интерес девочек из «хороших семей» к «плохим мальчикам» – с изъясном, с душевным вывертом, ступившим на опасную дорожку, – не так уж редок, такие истории случались и случаются. Может быть, у этих парней резче, выпуклее характер, ярче явлено мужское начало? Может быть, у этих «девочек из приличного дома», как говаривала моя

бабушка, воспитываемых в правильной и необходимой строгости, озадаченных хорошими отметками, уроками музыки и иностранного языка, вдруг возникает непреодолимое желание пройтись по опасной дорожке навстречу запретным и оттого заманчивым приключениям? – тут Кира вспомнила о госте и взглянула на нее, как бы ища ответа на эти вопросы. Та ничего не ответила, но чуть кивнула в знак внимания. «Слушает, и слава Богу», – решила Кира и, полностью успокоившись, продолжила:

— А может быть, «выверт», тяга к «неправильному», запретному, опасному – таился в самой нашей семье? Недаром случилась эта история с сестрами деда... Младшая, Зигта, влюбилась в мужа старшей, Клары. Хотя, возможно, он сам ее совратил – судя по всему, он был человек порочный.

Помню, бабушка сидит на диване и рассказывает что-то своей подруге Лине Павловне – худенькой, высокой, белой как лунь. Лина Павловна, или в нашем домашнем обиходе – Линапална – немка. Она приехала в Россию в двадцатых годах, подхваченная вихрем большой любви, безумно влюбившись в революционера, друга моего деда. Мужа через несколько лет расстреляли, и Лина осталась одна с двумя детьми – дочкой и сыном. Пройдет еще немного времени, под бравурные песни и победоносные реляции накатят тридцатые годы, и романтической немке придется не понаслышке узнать, какова железная хватка ее новой родины. В 1937 году Лина была арестована и допрошена *с пристрастием*. Она должна была признаться, куда скрылся от всевидящего ока *органов* друг ее расстрелянного мужа, искренний ленинец, боевой комиссар гражданской войны – мой дед. Однако в канцелярии доблестной

организации было, видать, что-то неладно: тот, кого они, не жалея собственных кулаков и сапог, разыскивали, успел умереть годом ранее, о чем арестованная им и сообщила. Впрочем, это признание ей не помогло – у *них* в любом случае было, что предъявить ей – немке и жене расстрелянного партийца, «врага народа». Выпускать ее из своих клешней они и не думали. «Он на меня орать: «Где Шульгин? Где скрывается? Говори, стерва! – как сейчас помню, рассказывала Линапална бабушке (прожив с юных лет в России, изведав лагерь и ссылку, она так и не одолела грамматику русского языка, говорила бегло, но с ошибками и неисправимым акцентом). – Я: «Он умереть в прошлом году!» Он кричать: «Врешь, сука!» И мне – со всего маху! Я упал на пол, и он стал бить меня сапогами».

Я сидела за бабушкиной спиной и, затаив дыхание, слушала Линупалну. Мне казалось (да и сейчас кажется) невероятным, что есть на свете люди, способные выдержать такое. Я не сразу поняла, что знакомая мне с малых лет бабушкина подруга была человеком необычным, скрывающим за хрупкой внешностью поистине железный характер: «Я стиснул зубы и думать: «Не кричать! Не кричать! Не буду кричать!» Он бьет и бьет, а я лежать и молчал! Другие женщины кричал и плакал, а я – ни звука!»

Не обошли искусные разоблачители шпионов и сына Лины, в ту пору – подростка. «Я его помню, – рассказывала мне через много лет мама, – молодой парень, а все зубы – железные. Ему *там* выбили все зубы – заставляли признаться, что за несколько лет до ареста, совсем маленьким мальчиком, он был немецким или еще каким-то там шпионом».

Из мест не столь отдаленных Линапална вернулась после войны. Она тихо и печально доживала свой век в постсталинскую, отнюдь не благодушную эпоху, и единственной ее отрадой было приходить к нам в гости и подолгу беседовать с бабушкой, вспоминая прожитое и пережитое.

Бабушка вполголоса беседует с Линойпалной про что-то захватывающе интересное и непонятное, а я примостилась в углу комнаты с учебником в руках и делаю вид, что читаю. На самом деле я изо всех сил прислушиваюсь к разговору взрослых.

«...А Каля была красавица, на нее на улице оборачивались! А та, Зитта, была некрасивая, но с чудесной фигурой. И всегда ходила в черной шляпе, а под ней – черный платок на голове. Тоже была интересная. И способная... Собиралась стать артисткой. И вот этот Калин муж... – тут бабушка понижает голос и почти шепчет Лине Павловне на ухо. До меня доносятся только отдельные слова: Негодяй!.. С обеими... Зитта сбежала в Харьков... Так он и там!..»

Бабушка делает паузу, откидывается на спинку дивана и всплескивает руками. Из своего угла вижу ее вытаращенные от волнения глаза. Она, ясное дело, вновь переживает эту давнишнюю семейную тайну, будто бы это произошло на днях. Я напряженно ловлю каждое слово, сказанное шепотом и подтвержденное игрой подвижного бабушкиного лица и выразительными жестами ее ловких, маленьких, пухлых ручек.

Старшую тетку мамы – Клару, или, по-домашнему, Калю, – я знаю с детства: всю мою недолгую жизнь она смотрит на меня с большой фотографии в деревянной раме. Красивое лицо, погру-

женное в охапку больших ромашек, озарено лукавой улыбкой. Прото, что у моего деда была и вторая сестра, я слышу впервые.

«...Не выдержала... – шепчет бабушка...– Яд... Где-то достала...»

Лина Павловна, возможно, знает эту историю очень хорошо, слышит ее, скорее всего, в сотый раз, но по закону дружбы она все равно сочувственно кивает головой и вздыхает. Тут бабушка обращивается и видит меня:

«А ты что тут сидишь?»

«Учу историю», – неумело оправдываюсь я.

«А ну марш к себе! Что это за ученье – под разговоры взрослых? Папа придет вечером и проверит, что ты там выучила!»

И я послушно ухожу в другую комнату, сажусь к письменному столу, открываю учебник, но не могу прочитать ни слова. Я заинтригована соприкосновением со страшной, губительной силой *ЭТОГО*, с темной, лишь слегка приоткрывшейся мне семейной трагедией. Я еще не вполне понимаю смысл и суть этой трагедии, но ясно осознаю одно – неведомая мне Зитта влюбилась в недостойного человека и погибла из-за своего *постыдного* чувства. У меня горят щеки – ведь и я испытываю непозволительное, *постыдное* чувство к человеку недостойному, чувство, которое надо скрывать ото всех, как пятно на новом платье!

Постыдная моя любовь закончилась, конечно, не трагично, а смешно, – легонько вздохнула Кира, улыбнувшись той неуклюжей, застенчивой, глупо влюбленной девчонке, какой она была в те годы. – Однажды, мартовским прохладным деньком я вышла из квартиры на лестничную площадку с нотной папкой в руке. На

площадке, расположенной пролетом ниже, сидели мальчишки из нашего двора. Среди их голосов я слышала любимый голос – развязный, с приблатненными интонациями – обычный говорок дворовой шпаны, впитавшей как губка ухватки взрослых, уважаемых «авторитетов». Мое сердце учащенно забилося, «затрепетало», как сказал бы поэт-романтик, и я замерла в сладостном испуге, не торопясь вызывать лифт. Может быть, моя любовь заметит, что я здесь стою? Может быть, удастся перекинуться хотя бы парой слов? И тут дверь нашей квартиры распахнулась, на пороге показалась бабушка. «Кирюша, ты тепленькие штанишки надела?» – заботливо спросила она.

Кровь бросилась мне в лицо. С нижней площадки послышалось приглушенное хихиканье. Из последних сил я старалась спасти ситуацию, молча кивала бабушке головой и желала одного – чтобы она испарилась, исчезла сию же минуту и безвозвратно. Но бабушка не исчезала, а, повысив голос, повторила свой вопрос. Прысканье внизу усилилось пропорционально громкости повторяемого вопроса, и я, чтобы прекратить пытку, буркнула: «Надела!»

И мысленно, плаваясь от раздражения, прибавила: «Да отстань же ты, наконец!»

Но моя беда состояла в том, что бабушка была глуховата. И глухота ее, как она рассказывала мне уже гораздо позже, стараясь разделить со мной мою очередную беду, происходила тоже от любовной встряски. «Вот я расскажу тебе о своей любви», – говорила бабушка. Она была той породы, которая среди людей встречается настолько редко, что порой кажется выдумкой сказочников. Но это

не так, и моя бабушка – очевидное подтверждение реальности существования этой породы: бабушка была однолюбка.

Мой дед для меня был прежде всего легендарным, почти мифическим героем бабушкиных и маминых воспоминаний. В этих воспоминаниях, проникнутых поклонением и грустью, прекрасный образ деда был вознесен на недостижимые вершины. Он учился в университете в Цюрихе, он в совершенстве знал несколько иностранных языков, он хотел стать врачом, но посвятил жизнь трудовому народу, он был пламенным революционером и героем гражданской войны, его обожали солдаты и рабочие, он отдал всего себя делу коммунизма и рано умер, оставив после себя двух осиротевших женщин – молодую и маленькую.

В моем восприятии дед материализовался в виде большого фотографического портрета на стене, откуда на меня смотрело тонкое, строгое лицо человека в военной шинели, а также в виде курительной трубки черного дерева и тяжелой серебряной пепельницы, которые хранили застарелый, прогорклый запах табака. А для бабушки эти вещи были безмолвными свидетелями памяти, очевидцами ее единственной любви, окончившейся у могилы на Ваганьковском кладбище. Оставшуюся жизнь она растила дочь, а потом нас – внушек.

«В Николаеве (судя по бабушкиным рассказам, Николаев являлся сказочным, невероятно прекрасным городом, в котором вплоть до гражданской войны царил всегда счастливый праздник) мы жили недалеко друг от друга, знакомы были семьями. И я его, Михал-Лексанича, заприметила, еще когда в гимназии училась».

Сразу – и навсегда: такова была натура моей бабушки. Но дед, очевидно, взаимностью ей не отвечал и вернулся после гражданской в родной город вместе с боевой подружкой, комсомолкой в красной косынке.

«Мы сидели на берегу реки, – рассказывала мне бабушка. – Берег там был высокий, а внизу – обрыв. И вот он мне говорит: «С тобой у нас ничего не будет, у меня есть жена, я ее люблю».

«И я, – продолжала бабушка, – как это услышала, так и прыгнула с этого обрыва в воду».

Вот что значит – человек, предназначенный только одной-единственной любви! Ради этой любви он пожертвует всем, даже жизнью, потому что нутром чувствует – никого больше ему в своей жизни встретить не суждено! Мне, например, несмотря на все неудачи, поражения и разлуки, ни разу в жизни не пришло в голову сигануть с обрыва или откуда-нибудь еще. Предательская мысль «А вдруг я... еще кого-нибудь встречу?» – видимо, была довольно надежной моей соломинкой.

«Я упала в воду, – говорила бабушка, – меня, конечно, вытащили. Но слух стала терять!»

Надо сказать, что ко времени, о котором я рассказываю, она потеряла слух уже весьма ощутимо. Мы, домашние, не просто повышали голос, а почти кричали, разговаривая с ней. Носить слуховой аппарат бабушка отказывалась категорически.

Итак, невыносимая сцена на площадке продолжалась, – и Кира опять искоса чиркнула взглядом по лицу гостя, стараясь понять, интересно той слушать или нет. Но ничего понять Кире не удалось, и она решила больше об этом не думать: гостя не зевает, не пере-

бывает – и на том спасибо. В конце концов, Кира проговаривает все это прежде всего для себя самой, готовясь писать давно задуманную книгу о семье, о родных. Успокоившись, она продолжила:

«Кира, – опять спросила моя мучительница, прибавив в голосе громкости и металла. – Я с тобой разговариваю? Ты слышишь или нет? Ты тепленькое под низ надела?»

Тут Кира чуть прикрыла глаза и усмехнулась, вспомнив это «тепленькое» сизого цвета, с начесом, показывающее свои уродливые резинки из-под юбки при всяком неловком движении, и немислимой конструкции лифчики из сатина с огромными пуговицами и застежками, похожими на дверные петли, – отрывку послевоенной эпохи, несомненно, призванную с самого нежного возраста воспитывать в юном человеке Homo Sovieticus! Главное – светлое будущее и борьба за мир во всем мире, нечего заниматься глупостями и мелочами в виде белья для детей и подростков!

На дворе уже начинались шестидесятые, чуть потянуло воздухом послаблений и свободы, уже были на слуху имена Гагарина и Титова, уже начинали переписывать и петь такие НЕофициальные, тревожащие душу песни Окуджавы. Уже молодые женщины и девочки-старшеклассницы укладывали волосы в «бабетту», надевали капроновые чулки, игриво запрокинув назад головку, проверяли стрелку шва, цокали по асфальту и по школьным коридорам туфельками на шпильках, а сверстницам Киры лишь оставалось наблюдать за ними завистливым взглядом, подтягивать какашечного цвета чулки в резиночку и мечтать о том времени, когда и им будет дозволено надеть прозрачный капрон и остроносые лодочки!

«Да надела! Надела же», – со слезой в голосе и ненавистью в душе крикнула я беспокойной бабке. Она, удовлетворенная, кивнула головой и захлопнула дверь. На нижней площадке сдерживаемое прысканье перешло в откровенное ржанье.

«Кир, а Кир! – донесся до меня голос, уже больше года неизменно повергавший меня в смятение. – Ну, ты чо, в тепленьких порточках или как? Поди сюда, проверю, холодно тебе будет на улице или нет!»

Его дружки-паршивцы веселились от души, наблюдая такое мое поруганье. Тут, наконец, пришел спасительный лифт, не помня себя я погрузилась в кабину, спустилась на первый этаж и отправилась на урок музыки. Солнце уже было ощутимо ласковым, из-под почерневших сугробов бежали ручейки. Я вступала в эти ручейки своими некрасивыми тупоносими ботинками – брызги летели во все стороны, нотная папка била по ногам, под пальто юбка закручивалась и мешала ходьбе. Я шла смиренно, не плача, подавленная крушением своей мечты, открыв для себя непреложную истину: человек, выставленный на посмешище, может вызвать в лучшем случае жалость или сочувствие, но никогда – любовь! Неважно, сколько лет человеку – ведь и в десять можно испытывать сильнейшую душевную встряску, не меньшую, я думаю, чем в тридцать или в пятьдесят. На душе у меня было чувство такого невозможного, острого отчаяния, какое может быть только весной... Весна и потом, в дальнейшем, очень часто оказывалась для меня временем сокрушительного поражения! Отчего так? – и Кира взглянула на гостью, ища у нее ответа. Та дернула плечом и сделала руками неопределенный жест. Подобные вопросы ее явно не интересовали.

— Так и кончилась моя первая любовь, — продолжала Кира, не дождавшись ответа. — Сейчас, когда я вам все это рассказываю, я понимаю, что не так уж важен был сам предмет моей детской любви — дворовая шпана, на самом деле ненужный мне человек, вскоре пошедший по протоптанной дорожке: сначала — взлом школьной подсобки, товарищеский суд над родителями, потом, кажется, колония, возвращение, а потом — что-то серьезное. Больше я его никогда не видела, но его судьба меня уже не волновала.

Гораздо важнее, что я получила первый урок любовной науки, той самой, которая, как я теперь знаю, никому в нашем семействе не давалась даром, — тут Кира откинулась на спинку стула и постучала указательным пальцем по своему «архиву».

Гостья продолжала молчать, устремив тусклый взгляд куда-то в сторону, за Кирино плечо. На Киру опять навалилась усталость, мячиком запрыгало сердце, руки и ноги ослабели до дрожи. Отчего-то вдруг возникло необъяснимое ощущение, что дурнота вызвана присутствием гостьи.

Кира сказала:

— Я пойду прилягу, а вы идите. Дверь просто захлопните, и все. Спасибо вам! Всего доброго!

Получилось резковато, но оставаться в рамках приличий у нее уже не было сил. Она встала, взяла «архив» и прошла в спальню, уверенная, что гостья, увидав такое откровенное недружелюбие, наконец отправится восвояси.

Глава 2.

О коварстве хмеля

Ах, какой был упоительный сон! Зеленый мирный свет настольных ламп заливал просторный читальный зал, в высокие окна библиотеки смотрел бархатный зимний вечер, чьи-то глаза улыбались Кире через стойку письменного стола, и невыразимая радость закипала в ней от этого веселого, дерзкого взгляда. «Познакомились тогда... в библиотеке... Лампы зеленые на столах... Целая жизнь прошла... – покачивалась Кира в теплых волнах дремоты, охваченная невесть откуда взявшимся, хмельным, как игристое вино, чувством счастья. – А... когда ... в последний раз... виделись? Уже старые были... Лет десять назад... нет... больше...»

Мысли толкались в сонном мозгу, насакивали одна на другую, в памяти высвечивались разные события, почти не связанные между собой, – так фонарик в темной комнате высвечивает то один предмет, то другой.

«...Библиотека в нашей семье имеет... какой-то особый... пожалуй, сакральный смысл... да... Мама и папа... тоже ведь... в библиотеке... Иностранке... М-м-м... Мама много раз рассказывала...»

И фонарик осветил полутемную комнату, освещенную мерцающим светом телеэкрана, массивное кресло и утонувшую в нем маленькую Кирину маму.

«Эта работа, – доносится мамин голос из глубины кресла, и Кира напрягается, чтобы слышать одновременно ее голос и голоса, доносящиеся из телевизора, – была для меня таким унижением!

Окончить филфак Московского университета – и для чего? Чтобы выдавать книги! Моя преподавательница, профессор кафедры западной литературы, посылала первокурсниц в библиотеку со словами: «Предупреждаю вас, что филологам чрезвычайно трудно найти хорошую работу! Идите и посмотрите, где работает одна из моих лучших студенток!» К тому же начальница меня невзлюбила».

«Еще бы, – посмеивается Кира, прислушиваясь к этим словам под аккомпанемент говорящих голов из телевизора. – Какая ж начальница будет привечать молоденькую... хорошенькую... да еще с амбициями...»

«В общем, – продолжает мама, – стою я за этой проклятой стойкой и только и думаю, как найти другую работу. Смотрю, какой-то черноволосый парень, высокий, видный, все время подходит и заказывает то одну книгу, то другую, то на русском, то на румынском. А наши библиотечные бабы вокруг все шушукуют: «Румын... Румын... Ну, я стала исподволь приглядываться... Хотя я тогда замужем была. За Сенькой...»

«Сенька... м-м-м... первый мамин муж... Огромный том Пушкина... и надпись «Моей дорогой жене в честь блестящего окончания университета»... – высвечивает фонарик новый предмет в темном схроне Кириной памяти.

Мама часто рассказывала о своем первом муже, и самое удивительное в этих рассказах, на взгляд Киры, было то, что они всегда сводились лишь к четырем эпизодам, практически никак между

собой не связанным; вся же остальная семейная жизнь этой пары представлялась безликим, ничего не значащим многоточием.

Первый эпизод из отношений супругов был почти невинным и мог бы быть озаглавлен «Незадачливый плагиатор».

Означенный Сенька был вовсе не бесталанным, и имел, очевидно, неплохие способности к рисованию. Как-то раз он, страшно гордясь, показал портрет товарища Сталина, якобы нарисованный им самим. Натурой для произведения, выполненного акварелью, по словам художника, послужила фотография вождя в газете или в журнале, а может быть, где-то еще. Нечего и говорить, что в послевоенные годы найти такую натуру для выражения верноподданнических чувств было чрезвычайно легко, поскольку нельзя вообразить себе что-либо, сотворенное в то былинное время руками советских людей и не украшенное изображением Отца и Учителя народов.

Итак, портрет Лучшего Друга всех влюбленных был преподнесен художником своей любимой, надо полагать, в качестве самого дорогого подарка.

Однако близкие друзья семьи обнаружили в журнале «Огонек» такой же портрет, правда в черно-белом варианте, и немедленно вывели «художника» на чистую воду. Оказалось, что он просто-напросто раскрасил акварельными красками журнальную картинку, подобно дошкольнику, впервые получившему в свое распоряжение ученический набор красок с кисточкой! Плагиатора жестоко высмеяли при всех родственниках и, главное, при юной возлюбленной. Надо сказать, что в данной ситуации она отнеслась к нему с

сочувствием: «Мне его даже жалко стало! Могли бы как-нибудь помягче, что ли... Он же все-таки был еще совсем мальчишка...»

Это единственные мамины слова, в которых Кире чудилось хоть какое-нибудь, пусть и слабое чувство по отношению к Семену. Ни о каком более сильном душевном движении, тем более о любви или увлечении, мать никогда не проронила и полслова, из чего Кира заключала, что такого движения не существовало вовсе.

Эпизод второй своим началом уходил в предвоенные годы, когда главные действующие лица не достигли еще и шестнадцати лет. В то время Сенька весьма серьезно дружил с двоюродной сестрой Кириной мамы и по совместительству – ее лучшей подругой. Дружба Сеньки и маминой кузины была настолько сердечная, что в семейном кругу сестры-подруги он с полным основанием принимался как жених.

Однако после войны «жених» к «невесте» охладел – годы эвакуации, разлука и неизбежное взросление перетасовали карты по-своему. Неверный переключил свое внимание на хорошенькую подругу своей бывшей невесты. Отношения сестер-подруг фатальным образом расстроились, дружба рухнула, как дом, в который попала бомба. По уверениям разлучницы, она не имела злого умысла обидеть сестру, и лишь отдельные обмолвки в поздних откровениях матери заставляли Киру предположить, что на какую-то выгоду от своего союза с Сенькой она все же рассчитывала: «Мы вернулись из Ташкента, из эвакуации – холодно, голодно, трамваи не ходили, спать ложились пораньше, чтобы не так чувствовать

голод. Мама устроилась надомницей на фабрику, ночами строчила на машинке, шила рабочие рукавицы, утром укладывала их в здоровые тюки, и мы их тащили на фабрику. Ну, а когда я замуж за Сеньку вышла, уже стало чуть полегче. Он учился в академии Жуковского, получал паек».

Таков был этот брак по расчету, впрочем, по мнению Киры, вполне простительному. Двоюродная же сестра-подруга после периода отчуждения обиду простила, возобновила прежнюю дружбу, удачно вышла замуж и, наверное, была счастлива до конца дней своей короткой, внезапно и нелепо оборвавшейся жизни.

А вот третий эпизод был по-настоящему драматическим, и воспоминания о нем всю жизнь не давали матери покоя.

В 46-м году, после восьми лет лагерей из Магадана в Москву вернулся мамин дядька Александр, по-домашнему – Сюнька, младший брат Кириного деда. Его арестовали в 37-м как сочувствующего каменевцам-зиновьевцам, а вернее всего за то, что он, как и его старший брат, принадлежал к первому поколению большевиков-ленинцев – чистых людей, со всей искренностью преданных высокой и, как оказалось, несбыточной мечте.

По мере становления советского государства нужда в их вере и искренности убывала, и к тридцатым годам практически исчезла совсем. «Кремлевский горец» и его опричники всюду рубили доштавшийся им «лес», чтобы на образовавшейся пустоши насадить совсем иные всходы, поднявшиеся в едином строю, радостном и послушном державному слову и делу. Щепки от рубки летели обильно, иные сразу в смертный ров, иные – «до ледовых широт», кто – на север, кто – на очень дальний восток. Когда 30-е перевали-

ли за половину и стук топоров сделался особенно звонок, дед Киры, едва разменяв пятый десяток, успел умереть, а его брат – не успел и отправился по этапу аж до самой бухты Нагаева.

В благословенном том крае он сумел выжить и вернулся в послевоенную Москву, съдаемый бесконечной, страстной ненавистью к усатому и рябому «повару острых блюд». Здесь его никто не ждал – его жена была давно замужем за другим, сыну сказали, что его папа умер. Только одно место в огромном, еще не до конца отдышавшемся от войны городе нашел Александр-Сюнька для того, чтобы укрыться от всевидящего Поварского Ока и не попасть безгласным телком в очередное «острое блюдо». И место это находилось в темноватом кривом переулке, сбегавшем к Чистым прудам, в старинном доме, когда-то принадлежавшем купцу Никите Морозову. Там, в двух комнатах с высокими потолками, в бывшей квартире профессора Благовещенского, в наступившее счастливое время переделанной в коммунальную, жила вдова его брата с дочкой. Девчонка оказалась бесстрашной молодчиной, очевидно – в отца: не побоялась отправиться в эти самые *«органы»*, каким-то образом нашла адрес дядькиного магаданского пребывания, стала писать. Это он в одном из писем посоветовал ей поступать на филофак МГУ. И поступила, и стала учиться, несмотря на голод, безденежье и безотцовщину.

Сюнька пришел к невестке, не сомневаясь, что здесь он найдет приют.

«Бабушка однажды неожиданно разоткровенничалась... – тяжело ворочала воспоминаниями Кирина сонная голова. – Всегда по-

малкивала... боялась... их всех научили бояться... все же разговорила... как-то раз...» Фонарик тут же услужливо высветил округлую бабушкину фигурку в байковом халатике и в стоптанных домашних тапках на полненьких ножках.

«Пришел весь во вшах – говорит бабушка, и ее маленькие пухлые ручки выразительно двигаются, помогая словам. – Я сразу всю одежду собрала и долго кипятила в баке на кухне. А он и говорит: «Я вот тут за шкафом у вас буду жить». Ну, живет неделю, месяц... Слава богу, соседи были хорошие, никто не заявил...»

В логове за шкафом Сюнька, человек незаурядных способностей, физхимик по специальности, за пару недель выучил английский, стал как-то пробавляться техническими переводами – кое-что зарабатывать.

Клокотавшая в нем ненависть к гениальнейшему из людей, вождю и учителю всех народов Земли, выплескивалась через край. «Если бы Гитлер сейчас подходил к Москве, я бы вышел, снял кепку и поприветствовал его», – цитировала Кирина мама безумную речь человека, которому под бравурные песни и гордые победные марши похода сломали жизнь. Юная студентка-патриотка не могла стерпеть поругания имени, самого дорогого для всех советских людей. Как и подавляющее большинство тогдашнего народонаселения бескрайней страны, она боготворила величайшего из генералиссимусов. Кем надо быть, чтобы сравнивать родного Сталина с фашистской нечистью? «Сталин» – было имя Победы, знамя Победы, обгащенное кровью, символ народного духа, сломившего чудовищную машину нацизма. Конечно, с дядькой да и с другими знакомы-

ми и друзьями семьи, попавшими под неистово пляшущий над головами топор, поступили несправедливо и жестоко, но ведь в этом виноваты негодяи, пробравшиеся в *органы* и в саму Партию, а великий вождь ни при чем! Он ничего не знает, его окружили прихвостни, скрывающие от него страшную правду. Никто не может оскорблять святое имя, даже если кому-то пришлось годами маяться в бараках с уголовниками на неласковом берегу Охотского моря.

«Пусть уходит отсюда, куда хочет, – бушевала юница, в полной мере унаследовавшая от своего отца и дядьки бескомпромиссность и пассионарность натуры. – Либо он – либо я!»

Мать пассионарии – бабушка Киры – наверное, этому требованию не противилась. Ей нужно было уворачиваться от безжалостного государства, выжить и поднять дочь. Жена истового, искреннейшего партийца, она, возможно, многое знала и понимала, но предпочитала держать рот на замке даже тогда, когда времена изменились. Кира, например, никогда не слышала от бабушки ни слова о фибровом чемоданчике – про него рассказала Кире мама. Проклятый чемоданчик с теплыми детскими вещами, которые ответственная и хозяйственная бабушка подготовила на случай своего ареста, поселился в углу их комнаты, очевидно, после того, как за дедом – уже к тому времени умершим – приехал черный ворон. Однако бойцы НКВД на сей раз зазря потратили казенный бензин – тот, кого они искали, сбежал от них так далеко, что даже у них, матерых дознавателей, руки были коротки его достать! А вот его тридцатишестилетнюю вдову, оставшуюся с одиннадцатилетней дочкой на руках, они напугали всерьез, и чемоданчик в течение долгого времени стоял около их входной двери, как, впрочем, сто-

яли тогда другие такие же чемоданчики у других таких же дверей на бескрайних просторах «от Москвы до самых до окраин».

Такое царило время на дворах, улицах, в городах и всях огромной страны, и совершенно очевидно, что жилец за шкафом никакой радости бабушке не доставлял – она была рада от него избавиться. Он собрался и уехал. Потом написал из города Мичуринска, что устроился на кафедру в тамошнем институте. Еще некоторое время от дядьки приходили письма, а потом на сцену выступил мамин тогда еще жених Семен.

«Как-то раз Сенька пришел к нам вот в такой шапке, – говорила Кире мама всякий раз, когда в телевизоре мелькали кадры с участием энкавэдэшников 40-х годов в их фуражках с малиновым кантом. – Сказал, что едет в Мичуринск. Зачем, спрашивается, его туда понесло? Во всяком случае, после того, как Семен туда съездил, письма от дядьки приходять перестали».

«Тогда, в конце 40-х, как начали опять всех грести – и его, наверняка, тоже» – вторила маме бабушка, делая при этом рукой загребающий жест, не оставляющий сомнения в том, какая участь постигла деверя.

«Я виновата, – казнила себя мама с высоты уже прожитых лет и кардинально изменившегося отношения к «Отцу народов» – Но зачем Сенька-то поехал в этот Мичуринск? Что ему там было надо? Может, он донес на дядьку куда следует? А может, приказал ему, чтоб больше нам не писал? Мы же собирались пожениться – а у невесты, выходит, такие сомнительные родственники».

«Так он и пропал... — печалилась Кира в своем полузабытии о совершенно неведомом ей человеке, скорей всего сгинувшем где-то на бескрайних просторах ГУЛАГа — Исчез навсегда... и мама потом винила себя всю жизнь...»

Таков был первый брак хорошенькой библиотекарши, который, судя по приведенным выше трем эпизодам, никак нельзя назвать счастливым, несмотря на некоторые выгоды практического толка. Закончился он, естественно, разводом, о чем повествовалось в четвертом эпизоде.

Семен закончил академию Жуковского, и в качестве авиаинженера получил распределение на Дальний Восток. Не могло быть и речи о том, чтобы молодая жена поехала с ним. Это было невозможно и не обсуждаемо.

«Ты представляешь? — вновь и вновь повторяла мама Кире, вспоминая те далекие, конца сороковых годы, отстоящие от нее сегодняшней на целую жизнь. — Как я могла уехать и оставить маму? Да и вообще — мне оставить Москву! Быть женой военного! Жить в каких-то гарнизонах, черт знает где, на Дальнем Востоке!»

Москва в маминой юности была ее неизменной любовью. Девочкой-старшеклассницей она оказалась в эвакуации, в Ташкенте, и все два года пребывания в этом гостеприимном, улыбчивом, солнечном, но чужом городе мечтала только об одном: вернуться в Москву.

«Меня так и прозвали в школе — «Москва». Потом прошел слух, что обратно всех пускать не будут — нужно приглашение от родственников, оставшихся в Москве. Ой, что со мной делалось! Я

просто с ума сходила – вдруг не удастся вернуться! Вдруг мы навсегда останемся здесь, в Ташкенте, так и будем жить в этой комнатенке, – тут мама руками показывала что-то маленькое и тесное, не больше конфетной коробочки. – Такой пенальчик, в который влезало две кровати – моя и мамина – и все».

Но приглашение из Москвы наконец было получено, и они вернулись в голодный, хмурый, но желанный город.

«А ведь и я, – потягивалась Кира, устраиваясь поудобней на подушке, – тоже... в некоторой мере... унаследовала это страстное стремление в Москву». И ей привиделось детство, дача, гул растопленной бабушкой печки, август, начинающийся листопад, затяжной невеселый дождь. «Такая острая была тоска по Москве... скорей бы, скорей домой! Завидовала каждому, кто уезжал в Москву раньше нас...» – вспоминалось Кире. Терзания по Москве оканчивались с первым стуком ее каблучков по московскому асфальту, она спешила по знакомым улицам, и радость вскипала в ней, как пузырьки воздуха в прозрачной воде.

«Так любила в юности Москву... даже сердце щемило...» – все дальше уносили Киру сонные воды. Теперь и эта любовь ушла, как ушли, канули, растворились в безостановочном течении лет другие любви, испытанные Кирой в жизни. «Нет, не так! – пронзила ее мысль такая резкая, что она даже проснулась, вынырнула из своей дремоты, открыла глаза. – Нет! Они вовсе не ушли бесследно, а как песок осели на дно души, и надо просто зачерпнуть поглубже, взглядеться повнимательнее в эти донные отложения – и то, что,

казалось бы, давно и надежно похоронено, вдруг блеснет золотинкой и оживет в памяти и в сердце!»

«М-м-м-... И что дальше?... Да... Брак с Семеном подходил к концу... вполне ожидаемому... вот тут-то они и встретились...» – ворошила Кира память.

Однако в ту пору очаровательную филологиню волновали не столько любовные перипетии – она была уверена, и вполне справедливо, что без мужского внимания не останется ни дня – сколько желание найти хорошую работу. Погруженная в честолюбивые мечты, она стояла за ненавистной библиотечной стойкой, когда заметила высокого черноволосого молодого человека, который подходил к ней уже примерно в десятый раз, заказывая одну книгу за другой.

«Что за дурак такой, думаю, – вспоминала мама о своем первом впечатлении от человека, с которым ей доведется провести вместе больше полувека. – Ходит и заказывает по одной книге! Не может, что ли, сразу сделать заказ на все, что ему нужно? Потом вызвался меня провожать. Идет и насвистывает. Музыкально, правда, насвистывает, а я думаю: какой нахал невоспитанный! Свистит, как уличная шпана! А через какое-то время – мы уже с ним встречались – наша регистраторша библиотечная вдруг говорит: «Ниночка, а вы знаете, что ваш кавалер – никакой не румын, а молдавский еврей?»»

Когда мама это рассказывала, Кире казалось, что такое открытие послужило для самолюбивой красотки некоторым отрезвляю-

щим ударом – вовсе не иностранец, а провинциал, да еще еврей. Впрочем, Кира считала, что маму можно было понять: на дворе заканчивались сороковые, из каждой подворотни смердело оголтелым антисемитизмом, и иметь такой пятый пункт в анкете становилось все более небезопасно. С другой стороны, Кира была уверена, и последующие события подтверждали, что этот удар был не настолько сильным, чтобы разорвать нить, уже связавшую этих двоих.

Папа, описывая их первое – еще не знакомство, а лишь подступы к таковому, – был по-мужски немногословен: «Смотрю, все мужчины почему-то толпятся у одного столика, где книги выдают. Что такое, думаю? – Подошел, глянул – о-о-о!..»

Это протяжное «о-о-о», сопровождаемое выразительным покачиванием головы, несомненно, выражало естественный восторг мужчины перед красивой женщиной. Но Кире в нем отчего-то слышался какой-то дополнительный, глубинный подтекст. Ей показалось, что этим восклицанием, воспроизведенным в конце жизни, отец хотел выразить неостывшее с годами волнение от встречи с неумолимой судьбой, которую он, как это обычно бывает с большинством людей, сразу не признал. Оправданием такой душевной слепоты может служить то, что на момент знаменательной встречи молодой сын молдавских Кодр, не достигший еще и 30 лет от роду, был женат, причем уже вторично. Прежний его брак с девушкой из горняцкого поселка Тульской области, не склеенный даже малейшей каплей взаимопонимания, рухнул, как карточный домик; нынешний, второй, оказался столь же неудачным, и ко времени

Встречи в библиотеке летел к концу под неумолчный грохот скандалов и взаимных обид.

Похоже, что уколов амуровых стрел, пронзающих сердца двоих, предназначенных друг другу, будущие родители Киры сразу не ощутили. Однако взаимный интерес все же возник и стал развиваться, несмотря на осложнения и размолвки. Недаром же отец в одной из своих песен пел о «мартовских венчальных звонах», о «наших ссорах в том апреле» и о «майских радостях бессонных».

Эти самые радости закончились нежеланной беременностью и попыткой окончательного и бесповоротного разрыва со стороны молодой женщины. Стать матерью, да еще одиночкой, вместо вожделенной интересной хорошей работы, в планы горделивой филологини никоим образом не входило.

— Я страшно разозлилась, когда поняла, что беременна. Мне надо было искать работу, он был женат, а тут – ребенок! Я пришла к нему на свидание и сказала: «Я перегорела, я от тебя ухожу!»

«Отец до конца жизни вспоминал это зловещее «перегорела»! – удивлялась Кира такому злопамятству. – Верно, крепко ударило по его мужскому самолюбию».

Но, может быть, дело было не только в самолюбии. К тому времени в деревеньке под Тулой уже росла его дочка от первого брака, и он, обладающий характером мужчины, семьянина и отца, инстинктивно не желал продолжать плодить безотцовщину. Потеряв родителей, сестру и брата, сгинувших без следа в кишиневском гетто, отец научился ценить СЕМЬЮ – маленький мирок родных друг другу людей, единственную опору человеческого бытия.

А неожиданный плод «майских радостей» тем временем нагло заявлял свои права на жизнь, развивался, рос в теле молодой матери, и она, смирившись со своей участью, уже его любовно называла Кирюшей. Но вместо ожидаемого, взлелеянного в нежных мечтах Кирилла появилась Кира, та самая, которая спустя девятнадцать лет после Встречи в библиотеке иностранных языков, сидела в библиотеке геологического факультета, листала учебник по общей геологии и, бессознательно продолжая семейную традицию, то и дело стреляла взглядом в улыбчивое, скуластое, с чуть раскосыми глазами лицо парня за столом напротив. В отличие от молодой выпускницы филфака, она не задавалась вопросом «Кто это?», она уже знала его имя, неоднократно слышала его от подружек-однокурсниц. «Мальчик-хулиганчик, измайловская шпана!» – говорили они, и характерная усмешечка, за которой женщины всех возрастов стараются спрятать свою заинтересованность, играла на их губах.

Кира на миг вынырнула из сна, повернулась на другой бок, натянула на ухо плед. «Удивительно... – сонная мысль билась в вязкой теплоте между забытьем и явью – больше ощущение, чем мысль, – как перекликаются семейные судьбы... будто эхом отдаются».

Благоговейная тишина библиотечного зала, изредка нарушаемая шелестом страниц, побуждала беспокойную юность к вдумчивому, серьезному освоению научных премудростей. Шла первая в их жизни сессия.

Кира поиграла в переглядки с новым знакомым, обменялась с ним парой ничего не значащих, шутливо-дружелюбных фраз и поняла, что ее желание грызть гранит науки на этот вечер полностью исчерпано. Она встала из-за стола, сдала книги. Ее визави было отправился за ней следом – но Кира с видом доброжелательным, но гордым, помахала ему рукой. Не все же сразу, в конце концов! Куда торопиться? Еще навстречаемся, еще напровожаемся!

Кира с наслаждением потянулась под одеялом, чувствуя, как ее мышцы наполняются тяжелой сладкой истомой. «Счастье.... Какое было счастье...», – улыбалась она во сне чему-то далекому, манящему и несбывшемуся... Вкусно хрустел снегом морозный вечер, над головой сияли звезды, а за плечами было всего девятнадцать! Как когда-то ее родители, никаких уколов от стрел Амура она не чувствовала совершенно, просто на сердце было весело оттого, что понравилась симпатичному однокурснику. О, прекрасное время, когда полет еще совсем неопасен, когда земля под ногами так близко, что если и упадешь – то невысоко, не разобьешься! О, восхитительная легкость *не-влюбленности, не-зависимости, не-ведения!*

Они учились на разных специальностях, и теперь, сидя на лекциях, общих для всего курса, и поймав его взгляд, Кира кокетливо усмехалась, строила глазки – словом, производила все действия, которые от века использует наша сестра в нелегком деле обождения их брата. Кира уже знала силу своей привлекательности, уже вкусила сладость мужского внимания, и хулиганистый мальчишка, вовсе не первый красавец и далеко не первый студент, казался ей

легкой добычей. Время веселого, нестрашного парения все продолжалось, и лишь одно Киру не то чтобы беспокоило, но удивляло: симпатия была явно взаимной, он был вовсе не робок в отношениях с девушками, но никакого сближения между ними так и не происходило. Они встречались, перекидывались насмешечками, улыбочками, шуточками – но далее дело не продвигалось, будто заело пластинку. Это непонятное торможение разжигало Кирина азарт.

Постепенно она стала замечать, что волнуется, исподтишка рыская глазами по аудитории, и если не видит его – ей становится скучно и неинтересно, а если видит – сразу начинает ощущать сердечную колотьбу и приливы обжигающего изнутри жара.

«Да ну – глупость какая!» – откровенничала Кира с подругой, пока еще – посмеиваясь, пока еще – забавляясь неожиданной влюбленностью, как смешной, непонятной и уж, конечно, неопасной игрушкой. «Нет, Кирка! – возражала подружка, неожиданно посерьезнев. – Это вовсе не глупость! Он поет, играет на гитаре, он всегда – душа компании, он очень нравится девочкам!» Кира кривила лицо в иронической гримаске, в душе чрезвычайно довольная тем, что ее выбор получает одобрение.

Время шло, а они продолжали токовать на расстоянии, и это *несближение* начинало все сильнее раздражать Киру. Так игрок, уверенный в своих силах, спокойно садится за карточный стол. Карта отчего-то к нему не идет, но это поначалу его нимало не беспокоит – он не сомневается в своей фортуне и благодушно подтрунивает над собой: «Эх, что-то мне сегодня не везет! Ну, ничего, еще отыграемся!» Однако игра продолжается, а удача все не улыбается

игроку, и его ирония сменяется смутной тревогой, которая постепенно перерастает в мучительный, болезненный азарт. И уже понятно, что карта – не ляжет и удача – не придет, и надо бы встать из-за стола и прекратить игру, но неведомая сила, парализующая волю и мозг, пригвождает к проклятому столу и, проигрывая последний грош, он твердит себе в отчаянии: «Нет, не выходит! Нет, видно, не судьба!»

Второй курс начался с выезда на картошку. Стояла та самая по-ахматовски «небывалая осень»: «купол высокий», пронзительно чистый воздух, несмелый утренний ледок на лужицах, блаженная тишь в природе, готовящейся к зимнему сну, ласковые лучи осеннего солнца, льющиеся на холодеющую день ото дня землю, на золотисто-багряные перелески, окружающие колхозные поля. На их бескрайних просторах, вольготно раскинувшихся под студеной небесной лазурью, везде, куда хватало глаз, копошились согбенные фигурки студентов и научных сотрудников всякого ранга – от профессоров до лаборантов самых разнообразных вузов, НИИ, КБ, понукаемых плотными, укутанными в теплые платки крикливыми деревенскими бабами в пудовых от налипшей грязи сапожищах. Комбайн, урчащий, как огромная удивительная жужелица, проплывал мимо сборщиков урожая, оставляя на бороздах почти половину выращенного, и поденщики двигались вслед за ним, собирая корнеплоды старым дедовским и даже прадедовским методом: ухватившись половчее за похрустывающую ботву, выдергивали из земли, отряхивали, насколько возможно, от прилипших комьев и бросали в огромные плетеные корзины. Из кабины жужелицы ино-

гда выглядывал лик комбайнера, потемневший от непробудного пьянства, и отверзшиеся уста его, перекрывая натужный рев мотора, смачно изрыгали фразу, состоящую из одних только матерных слов. Лишь по ласковому, веселому тону труженика полей можно было догадаться о смысле сказанного, о том, как приятен его глазу вид молодых городских белоручек, ковыряющихся в родной, исконной русской почве!

Так государство решало сразу две великие задачи: во-первых, оказывало помощь трудовому крестьянству, с раннего утра направленному самогонкой по самое горло, а во-вторых – успешно указывало всем этим «доцентам с кандидатами» их место в классовой иерархии – так, на всякий случай, «чтобы не зарывались».

Когда же первые сумеречные тени ложились на землю, студенты отправлялись «домой» – в пустовавший в это время пионерский лагерь, и там начиналась обычная жизнь юности с дружескими посиделками, прогулками в темных зарослях, поцелуями в укромных местах.

«Вот тогда подошел ты к крыльцу моему...» – пробормотала Кира сквозь сон.

На одной из таких посиделок она оказалась с *ним* в одной компании. *Он* был не один – с гитарой. Пел охотно, не ломаясь, не заставляя себя долго упрасивать, несильным, но приятным голосом – старые блатные песни, которые городская шпана, а вслед за ней интеллигенция передавали друг другу из поколения в поколение, и,

конечно, песни Высоцкого, написанные поэтом в том же рвущем душу стиле.

В тот вечер я не пил, не ел,
Я на нее вовсю глядел,
Как смотрят дети,
Как смотрят дети...

Кира слушала, тихонько подпевала, лукаво улыбалась и мечтала лишь одном – чтобы на нее *он* «вовсю глядел» своими зеленоватыми дерзкими глазами, чтобы ее обнимали и ласкали эти небольшие ловкие руки, перебирающие сейчас гитарные струны. «Вот наваждение, вот морок-то», – усмехалась она сама над собой. В тот вечер ей казалось – еще чуть-чуть – и сладкие мечты воплотятся в реальность: вот же *он*, совсем рядом, чего проще – протяни руку, найди верное женское словцо, откройся, завлеки, замани! Ведь для других – ненужных, нежеланных – она не искала ни улыбок, ни слов – сами напрашивались, ухаживали, звали на свидания. А сейчас, когда час пришел – ни жеста, ни слова не нашлось, и *он* – ее сладкая мука, присуха сердечная – ушел, шагнул с порога корпуса в темноту сентябрьской ночи, унося за собой невидимый горький шлейф ее разочарования: вот и не случилось, а могло бы...

«Картошка» закончилась, второкурсники вернулись в аудиторию, начался учебный год. Кире становилось все хуже. «Наваждение, – все пережевывала она найденное словцо. – Просто наваждение! Ну что у нас может быть общего? Шпана, учится – из рук вон, еле переползает от семестра к семестру», – уговаривала

себя Кира в тщетной попытке обрести душевное равновесие. Но разве когда-нибудь у кого-нибудь тонкая струйка самых разумных доводов смогла погасить разбушевавшийся огонь необъяснимого, неудовлетворенного влечения? Да и не могла Кира не видеть, не чувствовать всем своим страдающим нутром, что эти обвиняющие характеристики затрагивают лишь внешние стороны *его* натуры. Внутренний «нравственный закон», скрытый до поры до времени, как забралом, шпанистой повадкой, на самом деле являлся для *него* «категорическим императивом», таким же незыблемым, как «звездное небо», раскинувшееся над их шальными юными головами. Да что там мудрствовать? *Он* был действительно очень хороший, надежный, *врожденно порядочный* человек!..

Пришла весна. Как положено, просели и почернели сугробы, исходя веселыми ручейками, солнце изливало ласковое тепло на побледневшие за зиму лица, слепило глаза, манило неясными сладостными обещаниями. О, весна, как коварен, как переменчив твой норов, как больно ты умеешь наказать глупца, беспечно поверившего твоим миражам!

Весна разгуливалась не на шутку, все вокруг оживало, дышало соблазном, манило ароматами влажной зелени. Шапки и платки закидывались на верхние полки шкафов, юбки укорачивались, жизнь кипела, искрилась молодым счастьем, напитывалась любовными соками. Подруги Киры – юные, прелестные, одна за другой уходили в плавание по морю, имя которому «Любовь». Для них пела капель, для них весна разливала свои «венчальные звоны», им она сулила боль и радость первой близости, пьянящей, как молодое вино. Кира болела уже совсем тяжело. Одинокой нахохлившейся

вороной, пряча от прохожих заплаканное лицо, она бродила по университетским аллеям, вскипающим белым яблоневым цветом, то тут, то там натываясь на нежно обвившиеся парочки. И как игла бережит кровоточащую рану, так бередил ее душу их счастливый, отрешенный от внешнего мира вид.

Бывают весной тихие вечера, напоенные вкрадчивым теплом, когда лицо нежно обдувает обманщик южный ветерок, будоражит, разжигает тлеющие угли душевного огня – для того, может быть, чтобы завтра резко поменять направление, задуть с севера, принести колючую, хлещущую по щекам морось, надсмеяться, отрезвить, отнять надежду!

В один из таких волшебных-обманных вечеров Кира с небольшой компанией приятелей отправились в близлежащую пивную, которую все студенты Университета, не сговариваясь, называли «Шанхай» – во-первых, из-за расположения около китайского посольства, а еще из-за тесноты и дешевизны. Это грязноватое, плохо отапливаемое заведение всегда было полно разнообразного небогатого народа. Убожество меню компенсировалось его доступностью для студенческого кармана, на обшарпанные столы подавался в меру разбавленный напиток, по вкусу, в общем, приближающийся к пиву.

Компания пришла в «Шанхай», уселась за нечистый столик, с которого подавальщица смахнула волглой тряпкой остатки еды и сигаретный пепел. Мальчики с напряженными лицами порылись в бумажниках и карманах и, решив, что «должно хватить», сделали немудреный заказ. Тут кто-то увидел, что за соседним столиком сидит *он* с приятелем, – их немедля позвали к столу. Зацокали по

полу металлическими ножками стульев, потеснились, сгрудились, сели поплотней, и – о счастье! о, неожиданная щедрость судьбы! – *он* оказался рядом с Кирой! Да настолько рядом, что их плечи постоянно будто невзначай соприкасались. Слегка повернув голову, Кира встречала чуть насмешливый взгляд его зеленоватых глаз, и от каждого случайного касания их рук по всему Кириному телу разливалось сладостное тепло.

Уверенная в себе и в благосклонности Фортуны, наконец-то повернувшейся к ней лицом, Кира игриво болтала, понимая, что *он* вовсе неспроста выбрал это место рядом с ней – ведь мог бы сесть поодаль, за другим краем стола, рядом со своим приятелем. Она тянула холодное пиво, шутила и до поры до времени не замечала, как холод проникает ей под куцый плащик.

Допив пиво, компания вышла на улицу. Стемнело, похолодало, с неба сыпался нудный мелкий дождичек, мокрый асфальт жирно блестел в свете тусклых фонарей. Ребята, попрощавшись, отправились в общежитие, а Кира *С НИМ* НАЕДИНЕ пошла к автобусной остановке.

Наконец-то одни – только *ОН* и *ОНА*! Хулиган Амур являл аттракцион невиданной щедрости. Можно было невзначай опереться на руку своего спутника, можно было, замедлив шаг или даже вообще остановившись, отбросить наконец к черту всякие условности и прямо сказать ему, как он ей нужен – до слез, до сердечной боли, до спазмов в животе!

Да, многое могла бы решить эта прогулка по мокрой от дождя улице, и вполне возможно, что спутник Киры и сам ждал от нее чего-нибудь эдакого – но!.. Ни замедлить шаг, ни тем более остано-

виться, ни сосредоточиться на важных и нужных словах Кира категорически не могла – проклятое пиво осело внизу живота и настойчиво, с хамским упорством просилось наружу! Наполненное пенной дрянью и продрогшее в стылой пивнушке тело требовало немедленного облегчения, и Кира чуть не бегом стремилась к автобусной остановке, мечтая не о предмете своих многомесячных страданий и неистовых желаний, а о самом прозаическом белом фаянсовом агрегате!

На полных парах они доскакали до остановки. Кира чувствовала, что если нужный автобус не придет в ближайшие пять минут, позор ей обеспечен, отвечала невпопад, и в конце концов ляпнула что-то взвинченно-резкое. *Он* замолчал, Кира поняла, что обиделся, но в тот момент ей уже было все равно – подходил ее автобус, она небрежно кинула ему «Пока!», не помня себя, влетела в салон и хлопнулась на сиденье, собрав в комок мышцы и волю...

Спустя пару часов после выхода из злополучного «Шанхая» Кира улеглась в постель, стала перебирать в памяти события прошедшего вечера и с жестокой ясностью поняла, какую глумливую рожу скорчил ей мерзавец Амур! «Ничего у тебя не получится, – гримасничал жестокий божок. – Не судьба!»

«Не судьба», – разверзлась перед ней бездна непоправимого, и она заплакала – беззвучно и бессильно, как плачет обиженный ребенок, у которого неожиданно и грубо отняли давно желанную игрушку.

Подушка вскоре намокла от слез, стала холодной и противной. Сколько все же жидкости помещается в человеческом теле, особенно в теле женщины, у которой рухнули мечты!

Время летело неумолимо, впереди маячила весенняя сессия, а за ней – лето, практика, разъезды, разлука. Кира уже не болела – она погибала. Самыми страшными для нее теперь стали утренние минуты перед окончательным просыпанием, время перехода от сна к яви, момент истины, открывающейся человеку в своей беспощадной откровенности. «Не судьба!» – корчилась Кира от невыносимой, физически ощущаемой тоски, и в этой муке было не только понимание безнадежности ее любви, но и ледяное предчувствие ее грядущего одиночества.

Окончательно проснувшись, Кира принималась плакать. Натянув одеяло до бровей, дышала глубоко и ровно, чтобы никто из домашних не услышал ее всхлипы, а слезы лились невидимым потоком, остановить который у нее не было сил.

Однако надо было продолжать как-то существовать. Немного погодя Кира вставала, механически исполняла обязательные утренние процедуры умывания-одевания и отупевшая, притихшая отправлялась на занятия. «Вы совершенно друг другу не подходите, – говорила ей подруга, движимая самым искренним сочувствием. – У тебя это какое-то болезненное чувство, ты должна себя пересилить! Надо стараться!»

Но воли «стараться» и «пересиливать» у Киры не было. Зациклившаяся на своих горестях, она готовилась к весенней сессии, «отставив мозги в сторону», нахватала троек и окончательно погрязла в унынии. Краски жизни для нее померкли, ни в чем больше *не стало никакой потребности*, ничто больше не интересовало – ни устройство этой планеты, оказавшейся вдруг такой недруже-

любной к ней, ни кипучая студенческая жизнь, ни бесчисленные развлечения, которыми манил огромный многолюдный город.

«Больное чувство... больное... Бедная моя бабушка, – вдруг что-то щелкнуло в Кирином наполовину спящем мозгу, и поток воспоминаний необъяснимым образом устремился в другое русло. – Может, это у меня... от нее?.. Так концентрироваться на любимом?..»

Жительница города Николаева, которая впоследствии станет бабушкой Киры, в 1921 приехала в Москву году вслед за своей многолетней, неразделенной, мучительной любовью. Ей было двадцать с небольшим, ему – немногим больше. Он, выходец из николаевской купеческой семьи, боевой комиссар одного из полков дивизии Котовского, член Реввоенсовета города Николаева, был откомандирован в Москву для возобновления учебы в университете.

20 июля 1921 года

***Николаевский Губернский Комитет Коммунистической
партии (б) Украины***

Удостоверение №1197

***Николаевский губернский комитет Коммунистической партии
Украины командирует тов. Шульгина М.А. в город Москву в рас-
поряжение Ц.К.Р.К.П. (б) для направления в Ун-т для продолжения
образования.***

Всем партийным, советским, военным, железнодорожным организациям предлагается оказывать тов. Шульгину М.А. всяческое содействие при передвижении.

Секретарь губпарткома Малых

Зав. Уч. Распредотделом Сафонов

В Москве влюбленную никто ждал, не желал, и доброжелатели всячески старались ее от такого шага удержать. Вот друг семьи, добряк Боря пишет из Москвы в Николаев своей возлюбленной Кларе:

1921 г., 22 июля

Москва – Николаев

...Мне очень жаль Танечку, и я ее, как никто больше, способен понять. С Мишиной тактикой что и говорить! Ведь он все-таки должен понять, что так с Танечкой поступать нельзя. Грешно. Ведь она его любит, и воспользоваться этим он не должен.

...При всем моем бесконечном расположении к Тане посоветовать ей ехать в Москву за Мишей вслед я не могу! Я все же себе не представляю их дальнейшую жизнь вместе, и думаю, что этот суррогат Мишиных чувств скоро иссякнет, и будет ужасно досадно. ...Этот брак неравный, ...Танечка вообще не для Миши.

Но «бедная Таня», движимая своим «больным чувством», не имея ни в чем «никакой потребности», кроме потребности быть рядом с любимым человеком, не послушала ничьих советов и разумных доводов, а взяла да и прикатила в Москву вслед за своей

безответной любовью – будущим Кириным дедом. Здесь уже жил его младший брат Сюнька с женой и друг Борис. Старшая сестра братьев – Клара – пока оставалась в родном Николаеве.

Все они были молоды, талантливы и влюблены невпопад. От мимолетного брака Миши с комсомолкой Инкой даже осколков не осталось, однако он бережно хранил фотографию таинственной волоокой гречанки, которой был очарован в далекой юности. Милая, но очень некрасивая жена Сюньки страдала от недостатка внимания, а то и от нескрываемого небрежения своего супруга. Боря был давно и страстно влюблен в красавицу Клару, которая была старше его на 12 лет. Клара горько и отчаянно любила своего мужа, мерзавца и сладострастника. Одной из его жертв оказалась его свояченица Зитта. Раздавленная этой роковой страстью и невыносимым чувством вины перед сестрой Зитта отравилась.

И в этот клубок противоречий, молодых страстей, яростных порывов и отчаянных падений вплела ниточку будущая бабушка Киры:

1921 г. 25 октября

Боря – Кларе

Москва – Николаев

(Мишино) отношение к Танечке по-прежнему. Бедная Таня, как она страдает из-за всего этого... Не раз она прибежала ко мне в слезах, рассказывая что-нибудь из их совместной жизни... Не раз мне приходилось ее успокаивать и в тоже время отрезвлять ее от этого больного чувства. Но все же трудно приходится. Помнишь, родная, ты мне писала о том, чтобы я ее чем-нибудь развлекал, но

не такая Таня. Нет в ней никакой потребности в чем-либо. Бывало, пойдешь с ней в театр, в концерт, на лекцию – все – никакого впечатления на нее.

Но «бедная Таня», бесконечно любящая, преданная, терпеливая, несмотря на явное неодобрение друзей и родственников, продолжала настойчиво стучаться в дверь, казалось, наглухо от нее запертую, и ей, наконец, удалось невозможное: она стала единственной и необходимой. Через шесть лет после ее бесславного приезда в Москву когда-то недостижимый возлюбленный писал ей из кавказского санатория:

Год 1927, 6 июня

Михаил Шульгин – Татьяне Шульгиной

Дом отдыха «Кавказ»

Дорогая Танечка, чего ж ты меня так мало балуешь письмами? ...Живу я здесь скучно. Окружающий ландшафт похож на швейцарский, и мне втройне грустно, когда вспомнишь, как когда-то совсем другим, юным, хаживал по таким же лесам... Пью воду, купаюсь в ваннах, ем водосталь, и мне не хуже и не лучше, нежели было до приезда сюда... Я так измучился, так измучился. Твой голуб очень несчастный, моя верная Танечка, и кто знает, успокоится ли он когда-нибудь, чтоб отдохнуть хоть немного душою. И тебя он измучил за эти ужасные годы немало. Бедная моя девочка, подожди еще немного, пока его перестанут хлестать эти вечные муки, он перестанет тогда, быть может, мучить тебя. Ему самому от этого всегда так больно и тяжело. Ведь он понимает, что

без тебя ему было бы много, много тяжелей, и ты никогда не верь ему, когда он говорит другое, когда он отворачивается от тебя и говорит «Брзсь». Береги себя хоть для меня, никому ты еще не будешь так нужна, как мне, и ни на кого никогда я тебя не променяю.

Целую тебя крепко, дорогая моя девочка, и твою-мою доченьку тоже.

Твой М.

«Да... – продолжала размышлять Кира, потягиваясь под ласковым пледом, – странно, но примерно такие же слова я услышу от него, только он скажет эти слова не обо мне, а о той, которая в далекие студенческие годы тихо, но уверенно перешла мою дорогу и стала его женой – любящей, преданной, терпеливой».

Роман между ним и Кирой все-таки завязался, когда университетские годы уже подходили к неизбежному концу. Несмотря на другие увлечения, они почему-то не выпускали друг друга из виду, и наконец их пути пересеклись.

Шли первые годы его семейной жизни, жена была беременна их первой дочкой, и ему казалось, что семья – это лишь гири на ногах, мешающие свободной ходьбе. А Кира за пару лет, отделяющих ее от той, прежней, до слез влюбленной в него девчонки, успела набраться горького любовного опыта, пережить еще одну разрушительную страсть, изведать ложь и предательство близких людей и, выпотрошенная физически и душевно, пошла на поводу у давно отгоревших желаний. Так ее горячечные сновидения двухлетней

давности, мука, боль, слезы материализовались в пресном, вялом романе с женатым человеком – вечное выкраивание времени между работой и домом, вороватые поездки за город, свидания, в которых не было ни искры для души, ни пищи для ума! Как важно все же получать желаемое, когда желается, любить, покуда любитесь, пить из родника, когда испытываешь жажду. Где-то там была *его* основа – жена, семья, а Кира вертелась на обочине *его* жизни в качестве приятного, но вовсе необязательного дополнения.

Эти стылые отношения тянулись года два или чуть больше. Наконец Кира, рванув себя, подобно Мюнхгаузену, за волосы, разорвала эту ведущую в никуда связь в отчаянной попытке наладить свою собственную, личную, ни с кем неделимую жизнь, обзавестись своим *собственным* мужем и *собственными* детьми. Ей это удалось – правда, лишь отчасти.

Великое было смятение чувств в тот год – первый после окончания университета. Студенческое братство, замешанное в котле многомесячных учебных экспедиций, обильно сдобренное дерзкими мечтаниями о нехоженных тропах в науке и щедро просоленное юными страстями, разметало по разным НИИ, городам и весям. Теперь каждое утро Кира просыпалась в тоске, граничащей с отчаянием: надо было отправляться на работу, где ее ждала рутина, совершенно не отвечающая ее университетским амбициям, где знания и творческие порывы никого не интересовали, сослуживцы были чужды и неинтересны, и молодость утекала, как вода в песок. Возможно, за четверть века до этого в таком же подавленном состоянии просыпалась ее мать, которой предстояло день за днем проводить за выдачей книг у ненавистного стола в библиотеке.

Зато теперь каждая встреча с бывшими друзьями-однокурсниками превращалась в праздник, отогревающий душу. Чаще и охотнее всего Кира проводила время со С-ким – их связывала многолетняя и, как казалось Кире, надежная дружба. Он был спокойным, немногословным, чуть по-мужски насмешливым, но всегда – внимательным, все понимающим другом. Их романтические пути до сих пор шли в параллельных, непересекающихся направлениях, но отчего-то все пять университетских лет они пристально присматривали друг за другом.

Теперь они со С-ким часто бродили по парку, раскинувшемуся вокруг высотки над Москвой-рекой под присмотром мраморных ученых мужей, и разговаривали вполслова, а то и вовсе молчали. С ним лишние слова были ни к чему, он понимал ее так хорошо, будто видел насквозь.

«Вот за кого стоило бы выйти замуж, – думала она иногда. – Опереться бы на эту дружбу, пусть без особого жара, но зато крепкую, проверенную годами. К черту все эти наши страсти, метания, неистовства».

Эта «мудрая» мысль стала возвращаться к Кире раз за разом с завидным постоянством, и неким мистическим образом передалась ее другу, пустила всходы, начала материализоваться, прорастать в них обоих. Наконец многолетняя дружба превратилась в спокойный и, казалось бы, надежный союз.

Однако Кирины расчеты оказались ошибочными, радость от этой материализации была совсем недолгой, и союз, замешанный на «крепкой, проверенной годами дружбе», скоро дал трещину.

Приближался очередной полевой сезон – ежегодное испытание на прочность для человеческих чувств и отношений.

Кира повернулась на бок, вытянула ноги и почувствовала, как отступает назойливая боль в коленных суставах. «О-о-ох», – простонала она с наслаждением и благодарностью за эту передышку. И тут же по неведомой аналогии вспомнила светлый день, случившийся полстолетия назад, когда, отбившись от отряда, она, начинающий геолог, вдруг оказалась одна среди забайкальской тайги. Ноги гудели от усталости, ныли колени, молоток оттягивал руку, кожаный планшет, казалось, прибавил в весе и немилосердно хлопал по бедру. Она присела передохнуть на сыроватом мшистом бревне, скинула кожаную сбрую планшета, с наслаждением – вот таким же, как сейчас, – вытянула ноги. Кто-то посвистывал в мягкой пушистой лиственничной хвое, она пыталась выследить весельчака глазами и вдруг безошибочным, бабьим нутряным чутьем с пронзительной ясностью почуяла, что построенный ею картонный домик рухнул от первого же дуновения ветерка. «У него другая появилась!» – подумала она о С-ком, и отчаяние навалилось на нее такой тяжелой тушей, что она взмокла под брезентовой курткой. Руки задрожали, сделалось трудно дышать. Но удивительно – это полубоморочное состояние продолжалось не больше минуты. Она опять подумала о той неведомой *другой*, что выскочила, как чертик из табакерки, между ней и С-ким, – но подумала уже без отчаяния, со смирением. А смирение это произошло оттого, что, как ей показалось, из мягкой пушистой лиственничной хвои, где веселились

зазорные птахи, глянули на нее темные живые детские глазенки. Были ли они и вправду темные или она потом это додумала, глядя в карие глаза своего сына, Кира не могла бы ответить с точностью. Да и не важна была эта точность, а важно было, что дурноту и смятение сняло как рукой. Кира поднялась с бревна, перекинула через плечо ремень планшета и отправилась по своему маршруту, исполненная сил и тайной радости. «Ведь каждому, – заметил Борхес, – милы и любы дети, рожденные (допущенные к жизни) в смятении чувств...»

Личная жизнь явилась ей в полуметровом существе с трогательным взглядом еще не прозревших глазок и мельтешащими ручками, напоминающими маленькие звездочки. Лежа на родильном столе и услышав возглас акушерки «Мальчишка!», Кира почувствовала прилив такого чистого и горячего счастья, что все последующие полвека своей жизни всякую случившуюся с ней радость мерила тем чувством, как эталоном, наподобие того, как яркость небесных тел сравнивают с яркостью звезды.

С этой точки отсчета жизнь Киры перешла на другую орбиту и начала вращаться вокруг нового центра. Всякие иные душевные движения хоть и не потеряли своего значения, но отодвинулись, убавили резкость, как свет фонаря, у которого села батарейка.

Последний раз Кира увидела *его*, впервые когда-то встреченного в библиотечном зале и так мучительно потом любимого, на встрече однокурсников. Они уже перешагнули шестидесятилетний рубеж, и жизнь полным ходом катилась к последней остановке, но

его взгляд, голос и манера говорить казались Кире такими же опасно притягательными, как и сорок лет тому назад.

Она вновь сидела с *ним* бок о бок, прижимаясь плечом к *его* плечу, как когда-то в прокуренном «Шанхае» их юности. Старость, скривив в ухмылке щербатый рот, уже призывно махала им морщинистой рукой, но пока еще они не сдались ей окончательно, что-то тлело в их душах и бередило сердца.

Он был сед, вдов, женат вторично. «Лет через пять после свадьбы, – говорил *он* о своей умершей жене, – я думал: «И зачем женился? Мог бы еще гулять и гулять!» Через десять лет я подумал: «Наверное, мог бы жениться на какой-нибудь другой женщине и прожил бы совсем другую жизнь!». А еще лет через пять я понял, что *ни на кого никогда я ее не променяю, никому эта женщина не будет так нужна, как мне*, и я никому не буду нужен, кроме этой женщины».

Кира спокойно слушала эти слова, так похожие на те, что когда-то ее дед написал ее бабушке из кавказского санатория, сочувственно кивала и старалась ничем не обнаружить свою неожиданную печаль. То необъяснимое, страстное, болезненное, что притягивало ее когда-то к этому человеку, давно остыло, осело, как сказал поэт, «на дно души», но не забылось, не потерялось на длинной ухабистой дороге ее жизни. Она с упоением ощущала тепло *его* чуть располневшего тела и твердила про себя, подчиняясь внутреннему разумному голосу: «Хорошо, что у нас ничего не вышло, наша совместная жизнь – дело немыслимое, мы – две разные планеты, и орбиты наши пересечься не могут!» И подумала, что

никакими встречами в библиотеке, никакими яростными душевными порывами мудрую судьбу не обмануть, а следует благодарить ее за то, что вовремя распорядилась развести их в разные стороны. Но на самом деле благодарить судьбу ей совершенно не хотелось, а хотелось, как в юности, заплакать от отчаяния, что вон *он* – совсем рядом, совсем близко, и опять – не с ней, и вместе им не бывать уже никогда...

Кира чуть приоткрыла глаза, и в них брызнул свет сияющего небесного простора за окном. «Молодость, – тихо улыбнулась про себя Кира, – благословенны безумства твои! Пусть не всегда счастье дается в руки, пусть не всегда улыбается удача – и все же надежда упорно прорастает сквозь невзгоды, как трава – сквозь асфальт!»

Она чуть приподняла голову от подушки и прислушалась. Тишину квартиры ничто не нарушало, только настольный будильник подавал свой упрямый голосок. «Ушла, что ли? – подумала Кира о госте и, облегченно вздохнув, решила: Ушла. Слава Богу!». Она натянула плед почти на голову и свернулась калачиком, счастливая тем, что ничего не болит, никто не беспокоит и не мешает купаться в воспоминаниях.

Глава 3.

Утро. Кухня. Рукомойник

В квартире было тихо, маленький будильник на журнальном столике около постели весело причмокивал: «Тик-и-так! Тик-и-

так!». «Время мое отсчитывает, неугомонный», – подумала Кира с печалью, которую всегда вызывал у нее этот размеренный звук.

Она вытянулась на спине и устремила взгляд в прямоугольник окна, провожая глазами рваные облака, куда-то спешащие по хмурому небу. И вдруг с щемящей грустью вспомнила Север, победы и проигрыши, надежды и разочарования.

«Тик-и-так-тик-и-так», – совершала свой безостановочный бег секундная стрелка, и Кира, повинаясь ритму уходящего времени, все глубже погружалась в воспоминания. Было приятно и чуть больно тасовать колоду памяти, искать себя молодую, закованную в доспехи этого нынешнего старого тела.

«Сколько же натикало с тех пор? Лет сорок... даже с хвостиком... – ворочала Кира в голове неспешные мысли. – Да-а... Мне тогда было чуть за тридцать!..» Она прикрыла глаза и безо всякого усилия вызвала перед своим мысленным взором низкий, серый купол чукотского неба над убогими, сколоченными из рубероида и досок хижинами-балками геологического поселка, зажатого в кольце постоянно разрастающихся помоек. Это были даже не воспоминания, предполагающие усилие мысли и напряжение памяти, а что-то вроде вынутой из потайного ящика души стопки цветных картинок, гирляндой нанизанных на ниточку.

Тик-и-так-тик-и-так...

Кира побарахталась в мягком коконе пледа, поплотнее сжала веки и вытащила следующую картинку: две фигурки, высокая и маленькая, уходящие все дальше в тундру, тронутую дыханием приближающейся осени. Не открывая глаза, Кира усмехнулась, вспомнив, как бодро топала по рыже-красным кочкам со своим

другом, не то чтобы сильно влюбленная, но исполненная гордости от сознания того, что ее любят, добиваются, предпочитают другой, пусть даже более молодой.

Тот, чьим упорным исканиям она наконец ответила и рядом с которым сейчас мерила бодрыми шагами чавкающие кочки тундры, был высок, красив, статен, музыкален, облик имел эдакий «белогвардейский» и чрезвычайно этим бравировал. Звали его Миша, как Кириногo отца и деда, и в этом совпадении Кире виделся некий особый смысл. «Недаром имя у него наше, семейное», – думала она, стараясь найти в себе силы хотя бы для небольшого ответного чувства. Миша был младше Киры лет на семь, увлекся ею чуть не с первого взгляда и стал – сначала мягко, потом все настойчивее – добиваться ее расположения. Но Кирина остывала, переболевшая душа не откликалась, да и разница в возрасте ей как-то мешала. Хотя, казалось бы, что такое семь лет? В Кирином многогрешном семействе случались и более впечатляющие влюбленности. В ее двоюродную бабушку Клару был влюблен человек на 12 лет моложе.

Тут Кира встрепенулась и потянулась к своему «архиву», распластанному на журнальном столике. Полистав, нашла в нем то, что больше всего ей нравилось: письма юного Бориса к возлюбленной – красавице Кларе, чужой жене. Талантливый музыкант, «настоящий вундеркинд», как говорила Кирина бабушка, с ударением на первом слоге, с шести лет зарабатывающий концертами и уроками, познакомился с Кларой, когда пришел давать ей уроки фортепьянной игры. Пришел, увидел и... потерял голову на всю

свою жизнь! Поначалу, очевидно, его чувство, как и у Кирино-го «белогвардейца», было совсем безответным. Его Прекрасная Дама жила со своим мужем, терзавшим ее изменами, но все же, наверное, любимым – недаром она долгие годы не могла с ним расстаться, несмотря на все страдания. Однако Боря надежд не оставлял. Ни разлука, ни тяготы гражданской войны не только не победили, но обострили до предела его чувство.

1919 г. сентября 5 дня

Боря – Кларе

Станция Голта – Николаев

Милая моя Клара,

Вот уж 5-тый день сидим на станции и ждем очищения пути на Умань-Киев. Страшно тоскую по Вас. Несмотря на шум, веселье, порою пьянство (я еще не заражен) мне грустно, хочется к Вам. Издали доносится пение, музыка, веселый шум, и все это во мне вызывает тоску и раздражение. У нас в вагоне есть пианино, приходится играть все, только не то, что просит твое существо. За все время о Вас не переставал думать. Публика эгоистична, черства. Милая Клара, как жаль, что я не могу уехать хотя бы на несколько часов в Николаев, но, боюсь, Вы, может быть, меня уже забыли? Часто-часто бывают минуты, когда хочется просто бежать. Хочется заниматься, все остальное гадко.

Мой адрес: Доброармия, 4-ая отдельная Крымская инженер-ная рота, Музыкальная команда вольноопределяющихся.

Кира вздохнула, откинулась на подушку, прикрыла глаза, не выпуская «архив» из рук. Под ее опущенными веками открылась новая, чрезвычайно яркая, будто на днях виденная картинка: конец рабочего дня, вечер, все собрались в натопленном балке, укрывшись от капризной чукотской погоды, Миша поет под гитару, буржуйка утробно урчит, длинные пальцы уверенно перебирают струны:

Едут, поют юнкера гвардейской школы,
Трубы, литавры на солнце горят.

Лейся, песнь моя любимая,
Буль-буль-буль бутылочка казенного вина...

Песня славная, голос приятный, бородка а-ля Николай Второй, гимнастерка, сапоги, трень-трень-трень, гитарные струны, буль-буль-буль, бутылочка...

Трубы, литавры на солнце горят,
Грянем «Ура!», лихие юнкера!
За матушку-Россию и за русского царя.

«Хорошо нам было, – усмехалась Кира через пропасть четырех десятилетий, отделяющих ее от молодости, – сидеть в тепле, в безопасности, весело распевать *их* песни, понарошку, играючи касаться *их* жизни. А у очевидца той поры в 1919 году совсем другое настроение, – она опять принялась листать «архив». – Какое уж тут веселье!»

1919 г., октябрь, 17 дня

ст. Христиановка – Николаев

Не могу без боли и с жадной завистью смотреть на бесконечно тянущиеся вагоны с пассажирами, едущими в Николаев – в этот город, куда меня так с невероятной силой влечет. Задышаюсь от мысли, что нам не скоро придется увидаться. Милая Клара, я считаю Вас единственным другом, и как-то легко на душе становится, когда я вспоминаю о Вас. Вы мне почему-то сделались особенно дорогой сейчас, когда я чувствую себя так одиноко в кругу людей совершенно мне чуждых.

Какова здесь жизнь? Прежде всего, праздная. День начинается бездельем, кончается пьянством. Пьянствуют все, начиная с солдата, кончая генералом. Мы сейчас находимся при штабе генерала Слащева... Обедаем вместе, строй военный не проходим, в наряд не идем, так что предоставлен самому себе. Изредка даем концерты в пользу Добр. Армии с отчислением известных процентов в пользу участвующих... Ежедневно бывают различные вечера частного характера, куда мы тоже бываем приглашены. Мы – актеры и певцы, которые находятся при музыкантской команде...

Милая Кларушка! Мне невероятно тяжело! Невероятно больно! Душа куда-то рвется, и я чувствую, что не смогу долго бороться с собой. Вот я кажется, живу, хожу, ем, сплю, работаю.... Все делается механически без жизненного импульса и так, как будто душа отделилась от тела. Иногда крадывается мысль, что может быть, я уже сошел с ума. Все лезут какие-то мысли в голову отвратительные.

Простите меня за такое письмо скучное, знаете – настроение! Сейчас уже 2 часа ночи, завывает вьюга и отдаленный лай собак. Делается жутко и страшно. Тоска! Милая Клара! Одно желание – это видеть Вас! Вот что сейчас для меня составляет цель жизни. Ради бога, уничтожайте все следы моих писем, ибо в них, кажется, мало отрадного для Вас!

Боря.

Кира в задумчивости теребила странички своего «архива» и чувствовала, что испытывает к двоюродной бабке нечто, похожее на зависть. «Вот ведь... настоящий роман в письмах... Талантливый еврейский мальчик восемнадцати лет влюбляется в красавицу-соседку, замужнюю женщину с горькой судьбой». Тут Кира села в постели, подтянула руками ноги к груди и, упершись подбородком в колени, подумала: «Может быть, эта любовь была послана ей в награду за перенесенные страдания, за разрушительную связь мужа с родной сестрой?»

Кира вновь положила «архив» на журнальный столик. Она так долго и бережно возилась с этими хрупкими от времени бумагами, что ей стало казаться, будто те, что писали эти письма и дневники, укоренились, проросли в ее душе, и теперь она сама ощущала себя их частицей. Ей не нужно было перебирать содержимое своей папки – она просто вынула из памяти очередную картинку: бледную от времени открытку с изображением на одной стороне прекрасной царевны-лебедя в ниспадающих кружевах и словами, продиктованными то ли приливом сестринской нежности, то ли неизбывным чувством вины – на другой.

Моя сестра, близкая такая и такая прекрасная. Знаю, никогда не увижу человека с сердцем как у тебя...

Зитта

«Мой «белогвардеец», – перескакивала Кира мыслью с одного на другое, будто прыгала по камням в причудливом потоке странных аналогий, – был женат и имел дочку. Но я, помнится, не испытывала даже малейших угрызений совести! Неужели любовь к чужим мужьям – это наша семейная традиция? Провалилась же Зитта в эту связь с чужим мужем, и даже то, что этот Илья – муж обожаемой сестры, не удержало ее!»

1920 г., июль, 3 дня

Зитта – Кларе

Харьков – Николаев

Моя родная, любимая сестра. С Ильей я встретилась, он передал мне деньги от тебя. Не могу рассказать, что я чувствую, все, что я хотела вычеркнуть из своей жизни, опять всколыхнулось. Все мое безысходное отчаяние, вся мука и бесцельность моей жизни родилась благодаря ему. Он отравил меня совершенно и навсегда, и говорить о нем, чтобы во мне не подымалась вся горечь, не ныла душа, не могу. Если бы ты, родная, знала, как мрачно у меня на душе, как никогда не проникает туда ни надежда, ни радость. Чувствую, что все пути сошлись. Клара, простишь ли ты меня, что всю жизнь я только горе приношу тебе?

...Не помню, где я читала и подумала о нас: «Когда мы родились, стоял едкий, густой туман на земле...» Я чувствую себя та-

кой одинокой, несмотря на то, что ты есть у меня, и папа, и братья. Видно, тяжёлый грех на мне, что я так мучительно лишена самого необходимого, здоровой души и всего того, без чего немыслима для меня жизнь.

«Теперь уж не узнать, как все это случилось, – вился причудливый поток Кириных размышлений. – Может быть, он сам стал помогаться свояченицы? А может быть, она сама загнала себя в западню болезненной, гнетущей страсти, как я в своей истории с Г.! Кто теперь разберет! А этот самый Илья не смог или не захотел притормозить на опасном повороте. Вот и полетел в пропасть и потащил за собой обеих сестер!»

...Мне безнадежно тяжело, такое отчаяние меня гнетет, что я не могу ни сдержаться, ни скрывать этого, но легче не становится. У меня уж ни желаний, ни стремлений нет, и я все больше и больше верю в то, что у меня больная душа, или как это обыкновенно называют – ненормальная. ...Так бы и разбила свою голову о стену...

Зитта

«Такая вот семейная история! – рассказывала Кира, за неимением других слушателей, облакам, проплывающим в четырехугольнике окна. – Такие вот гены! Отчего Зитта так страшно мучилась? От гнетущего чувства вины перед любимой сестрой? Или от страсти, камнем лежащей на сердце, которую не могла перебороть ни отъездом из родного дома в Харьков, ни попыткой хоть чем-нибудь занять свою мятушуюся натуру? Как бы то ни было, она сполна заплатила по всем счетам».

1920 г., 20 августа

Сюнька (Александр) – Кларе

Харьков – Николаев

Дорогая сестра!

Я приехал с фронта в Харьков и на завтра узнал всю правду. Не стало Зитты. Такой большой любящей души, сотканной из страсти и самобичевания. Отравилась. Что было ей делать? В отчаянии, а может быть, в исступлении неудовлетворенности страсти опять сошлась с нехорошим человеком. И... на горе опять с мужем сестры. В тоскующую душу вкралось отвращение к себе. Без надежд, без близких, с гадливостью к себе и нечеловеческой тоской она потянулась к заветному пузырьку с цианистым калием. Она ведь давно знает, что смерть мгновенная от этого яда. Нет Зитты. Человеческие страсти чужды ее праху. А вот у меня выворочен мозг, разорвано в клочья сердце, ведь любил ее больше себя и всего на свете. Днями брожу, точно загнанная собака, и все вспоминаю. Вот я на кладбище. Здесь мы часто бродили и читали надписи на могилах. А вот вдали домик на Лермонтовской, наше одинокое жилище – неприглядное, тусклое...

«Догорели огни, облетели цветы, жемчужина стала сорной травой» Кто виноват? Если бы я верил в свободу человеческой воли, я бы сейчас же приехал застрелить преступного твоего мужа. Но это никому не принесло бы успокоения. Одиноким остался я, и потому мне так дороги ты и Миша. И я прошу тебя, найди в себе ласку для папы. Он ведь несчастный разбитый старик... Передай ему несколько слов. Должно быть, одряхлел, опу-

стился совсем. Может быть, голоден и бос. Ох, нехорошо. Семья наша – точно камень, увязший в омуте. Жизнь не гладит по головке. Скоро я приеду в Николаев, поговорим вместе, а может быть, что-нибудь и порешим. Бедная голубка.

*До свидания, моя единственная, любимая сестра. Твой Сянька.
Пиши пока на старый адрес.*

Кира вскинула глаза на большой, в массивной деревянной раме, фотографический портрет красавицы, прячущей озорную улыбку в охапке ромашек. «Похоже, Клара была и впрямь человеком особенным, – думала Кира, глядя на портрет. – Моя прабабка «Ева» умерла в пятых родах, оставив своему «Адаму» четырех детей. Наверное, тоска по матери перешла для младших в особое отношение к старшей сестре, недаром же они все – и братья, и Зитта – пишут ей такие письма! Есть на свете такие люди, которые живут будто бы специально для того, чтобы быть опорой для других. Вот и Боря, наверное, почувствовал эту ее «особость» и боролся за свою любовь долгие годы, вопреки всем преградам и обстоятельствам их бурно-сумасшедшей жизни!

1921 г., 22 июля

Боря – Кларе

Москва – Николаев

Мне казалось, что ты, Клара, единственный и близкий мне человек в мире, меня уж за эти два года хорошо узнала и можешь отличить во мне искренность от притворства, правду от лжи и т.д. Я безумствую, прочитывая твое последнее письмо. Ты спо-

*собна меня свести с ума своей логикой. Я стал невменяем. Я исху-
дал до неузнаваемости. Не из-за Москвы, не из-за москвичей и всей
этой бурно-сумасшедшей жизни, нет, ты знаешь, что не из-за
этого. Есть другая, более глубокая причина – женщина. Она тер-
зает мою душу, она заставляет меня постигнуть все прекрасное
в мире, и, постигнув, страдать бесконечно, беспредельно. И эта
женщина – ты. Ты в состоянии, не любя меня и чувствуя на вто-
рой день разлуки меня почти чужим, способна заставить бежать
к тебе и убедить тебя в неверности твоих слов.*

*Дружба... ты просишь сохранить нашу дружбу, но нет – той
дружке не бывать. Только безумная любовь, только священный
огонь любви будет теплиться в моей груди, а «такой» дружбы я
не хочу и не допущу. Ты еще будешь моей, моей навсегда. Я буду
служить тебе, жить для тебя, и ты еще познаешь счастье.*

*Ты мне пишешь «мальчик». О нет, Клара, ты знаешь, что я
уже давно перестал быть мальчиком...*

*Знаю, Клара, что ты меня не любишь... тем не менее, я знаю,
что что-то еще есть в твоей душе, что еще не все ушло... Об
одном тебя прошу, согрей меня хотя бы ласковым словом твоим,
дай мне надежду... Знай, что я становлюсь с каждым днем все
старше, все зрелей, а потому за все дальнейшие поступки беру на
себя ответственность.*

Мой адрес – прежний. Боря.

«Н-да-а, – продолжала разговаривать сама с собой Кира, поко-
ряясь давней привычке, укрепившейся за годы одиночества, – вот
и мой «белогвардеец» с таким же упорством добивался моего рас-

положения, пытаюсь разжечь погасший костер моей души, холодной и бессильной, как больной, переживший кризис. Он пытался обнять меня в тесных сенях нашего балка-столовой, он преподносил мне крошечные букетики нежных и слабых северных цветов, которыми тундра украшает летом свое мшистое тело. Я же всеми силами ускользала из его объятий и все твердила о дружбе, все подчеркивала разницу в возрасте, все старалась повернуть его внимание в сторону по уши влюбившейся в него молоденькой сотрудницы. Наконец он потерял терпение. «Хватить болтать о какой-то там дружбе! – сказал он мне довольно резко. – Я тебе мальчик, что ли, играть со мной!» – «А я и не играю, – отрезала я с садистским спокойствием. – Просто – не хочу». И добавила про себя: «Не нужен ты мне!» Потом отвернулась и с каменным лицом села разбирать образцы, накануне отобранные в подземке. Он расстроился до того, что лег на топчан и пролежал там до самого позднего вечера, не поднявшись даже к ужину.

«Что это ты сделала с Мишей? – спросил меня Г., начальник отряда, мой научный руководитель, и кивнул в сторону мужского отсека нашего балка, где на топчане лежало неподвижное тело, не ожившее ни к вечерним камеральным работам, ни к ужину. Я дернула плечом, стараясь вложить в этот жест всю меру своего небрежения к Мишиным переживаниям. Но Г. подергивание женского плечика совершенно не удовлетворило. Начальник геологического отряда не мог позволить, чтобы сотрудники выбывали из строя по причине любовных или каких-либо иных переживаний – от этого могла пострадать работа. Он продолжал допрос: «В чем

все-таки дело? Ты можешь объяснить? Он не пришел в камералку, он не вышел к ужину!»

Мы стояли напротив друг друга – только он и я, молчаливо и бесстрашно глядящая в его черные глаза. «Тебя заботит, – хотелось мне спросить, – что он не сделал порученную работу? Не страшно, ее сделал за него кто-то другой. Не поужинал? Тоже не страшно, не умрет от голода, до завтрака доживет несомненно. Мы с тобой хорошо понимаем, что тебя волнует на самом деле». А потом, с каменным спокойствием, завоеванным мною тяжелым, непосильным душевным трудом, я тихо добавила бы:

— Как я любила тебя! Как рвалась на части моя душа!

А он ответил бы – так же тихо:

— Я знаю...

И я могла бы продолжить со всей откровенностью, потому что теперь мне нечего было ни бояться, ни терять:

— Скажу начистоту... Поначалу моя первоначальная влюбленность была замешана на ма-а-а-леньком таком расчетце. По-моему, вполне простительном. Ты усмехаешься? Ты, возможно, тогда это понимал... Мы с тобой ведь всегда отлично понимали друг друга... Но что в этом плохого? Женщины ведь часто продвигаются в науке с помощью... как бы это сказать? Романтических отношений. Ты сам как-то раз мне сказал: «Не вижу ничего плохого в том, что мужчина, который любит женщину, помогает ей в работе». Я помню твой тогдашний прямой, очень откровенный взгляд! Ты хотел иметь во мне сотрудницу, помощницу, ученицу, но не только!.. Разве я ошибалась?

И он кивнул бы:

— Нисколько!

— Потом ты немного испугался, решил, что я слишком серьезно к тебе отношусь, что это ограничит твою свободу, помешает нашей совместной работе.

— Да, – согласился бы он. – Меня что-то вдруг насторожило... Но потом это исчезло... а время шло – и работало на тебя!

— Постепенно наша связь окрепла... Теперь, когда все кончено и ничего не вернуть, скажи мне – разве случайно, разве напрасно была та ночь на берегу реки, в палатке, под мягкими сводами полога, который укрыл нас от всего мира? Неужели ты все забыл?

И он насмешливо поднял бы бровь таким характерным только для него, таким знакомым, таким некогда любимым до боли движением:

— Нелепый вопрос! Как я мог забыть? Но ведь ты сама выпустила из рук нить, которая связывала нас! Почему хранила гордое молчание, когда *она* поехала с нами в очередное поле и повела свое наступление? Что же ты?

— Но ты всегда говорил о своей свободе, вот я и предоставила тебе свободу выбора между нами. Ты его сделал... Или обстоятельства заставили тебя это сделать. Теперь ты женат на *ней*, у вас сын! Скажи откровенно:

Как живется вам с другою?

— Молчишь? – спросила бы я. – Вот и я молчу в ответ на твой вопрос о бездыханном теле там, на топчане. «Мужчине трудно поверить, что его разлюбили», – это тоже твои слова. Но поверить тебе придется. Ты *отравил меня совершенно*, я выдирала тебя из

себя с кровью и мясом, долго и мучительно шла к теперешнему своему стылому спокойствию и обратной дороги мне нет!

Тут Кира нырнула с головой в складки пледа и, погрузившись в душноватый полумрак, вызвала к жизни новую яркую картинку: пустынный парк на высоком берегу Москвы-реки, пронизанный развеселым майским солнцем, и свою маленькую фигурку, уныло бредущую среди нежной, новенькой, пушистой зелени. За час до этого из болтовни сослуживцев она узнала, что ненавистная ее соперница сумела добиться своего, беременна и выходит замуж за Г. Нельзя сказать, что для Киры это было полной неожиданностью: она не могла не видеть, что *та* вцепилась в Г. настоящей бульдожьей хваткой. И все же Кира, как простодушная девочка-подросток, лелеяла в себе хилую надежду, обманывала себя, упорно отворачивалась от реальности, которая уже была давно ясна всем ее друзьям и сослуживцам. И вот момент истины настал, гром грянул, приговор был вынесен. Услышав его, Кира обмякла на рабочем месте и, пытаясь спрятать от подруг свое лицо, уткнулась в окуляры микроскопа. Посидев так пару минут и поняв, что в чутком оптическом приборе не видит ничего, кроме черной разверзшейся пропасти, она поднялась, собрала вещички и ушла с работы до срока. Путь в душном вагоне метро в окружении чужих и равнодушных людей был невыносим. Наконец поезд вынесло на метромост, на слабых ногах она вышла в безлюдный парк и углубилась в изумрудные заросли высокого кустарника. Наконец-то она была одна. Опустившись на сырое бревно, Кира кинула

сумку прямо в непросохшую глину и тупо уставилась на носки туфель.

«Удивительно, – вертелась Кира под пледом, – как все пережитое всплывает, стоит только позвать его, и все так же жжет, будто произошло лишь несколько дней назад. – Наверное, душа моей несчастной двоюродной бабки Зитты в тот момент вселилась в меня – *такое было безнадежное, тяжкое отчаяние, больная душа ныла, не переставая*».

Она сидела в кустарнике, чувствуя себя *такой одинокой*, не испытывая уже ни *желаний*, ни *стремлений*, а лишь *отвращение к себе* – неудачливой, нелюбимой! «*Догорели огни, облетели цветы, жемчужина стала сорной травой... Казалось – все пути сошлись, так бы и разбила свою голову о стену*»... За ее спиной раскинулся над рекой метромост – совершенно безлюдный и на долю секунды вдруг показавшийся таким соблазнительно высоким. Но Кира тут же устыдилась этой душевной слабости – там, за просторами парка, ее ждал человек пяти лет от роду, и не было в ее жизни никого главнее этого человека. Кира еще немного помаялась на склизком бревне, потом решительно поднялась, отряхнула плащ и сумку и пошла домой, отставляя клочья своей любви на колючках непролазного кустарника.

Время потекло дальше, неся облегчение. «Наверное, душа Зитты постепенно оставила меня», – размышляла Кира, выныривая из шерстяных пелен. – Я успокаивалась и, как прилежный садовник,

упорно возвращала в себе спасительное равнодушие. Лишь маленькое удовольствие я позволяла себе в то время – наблюдать, как быстро охлаждаются отношения новоявленных супругов».

Со времени женитьбы Г. прошло два года. Никакие посторонние душевные всплески и непредвиденные эмоции более не нарушали ритм их совместной работы. И все же они не были просто сотрудники, связующая их нить ослабела, но не исчезла вовсе, и Кира знала это наверняка. Они как-то по-особому чувствовали друг друга, порой не нуждаясь для этого даже в словах.

И вот теперь она с видом виноватой школьницы, из-за которой сорвался урок, стояла перед своим научным руководителем, цинично размышляя, что, пожалуй, не стоит отказываться от того, что само так и просится в руки. Ни слова из придуманного ею откровенного разговора она, конечно, не произнесла. Навью он состоится между ними только спустя долгие годы, когда наступит эпоха лихих перемен, а наука начнет разваливаться.

«Государство еще долго будет лишено возможности заниматься такими игрушками, как наука», – писали в то время борзые журналисты новой волны. Что же на это возразить? Раз нет возможности, то научные сотрудники разбрелись в разные стороны, пытаясь хоть что-то, где-то, как-то заработать. Брак Г. с Кириной давнишней соперницей окончательно развалился, и он уехал – так далеко, что встретить его вновь представлялось совершенно невозможным.

Однако прошло еще лет пять или шесть, и он приехал из своего дальнего далека – повидать бывшую семью, сына, а заодно – со-

служивцев. Они тепло встретились. «Ты все такая же», – сказал он Кире, глядя на нее знакомыми черными глазами.

Гости посидели за столом, за неумолкающими разговорами и рассказами наперебой. Потом все поднялись и отправились побродить по квартире, чтобы растряссти отягощенные желудки.

Кира осталась наедине с Г. Они помолчали, потом она сказала – тихо, будто про себя: «Как же я любила тебя... тогда». Она и сама не могла бы ответить, зачем произнесла эти слова. На душе у нее было спокойно, как в осенний, прозрачный, печальный день. «Я знаю», – ответил он так же тихо. Кира подняла голову, встретила его взгляд, от которого когда-то, в незапамятное время, ее сердце подпрыгивало прямо к горлу. И вдруг что-то всколыхнулось, что-то мелькнуло – давно и глубоко захороненное, заглушенное годами и усилиями воли, как морфином заглушают нестерпимую боль. На мгновение Кире показалось, что невидимая нить, которая связывала их когда-то, натянулась вновь. «А ведь никто не любил тебя больше, чем я», – выдохнула Кира с чуть заметным вызовом. «Я знаю», – повторил он, и все глядел на нее, будто ждал чего-то. Но Кира уже поняла, что никакой нити больше нет и быть не может, а память просто играет с их чувствами, как пустыня с миражами. Покой, надежный, как смерть, обьял ее душу.

А за окном караулила вечерняя мгла, и настенные часы неуклонно отсчитывали время...

Под пледом стало вдруг жарко и душно, Кира рывком скинула его с себя и вытянулась на постели. «Отчего ж такая слабость? Вот лежала бы так и не вставала вовсе», – мелькнуло в ее голове. Она

повернула голову на подушке и вновь встретила взгляд красавицы с охапкой ромашек. «Ты под крылом молодого друга спасалась от своего мужа, так же как твоя двоюродная внучка полвека спустя будет спасаться под крылом молодого друга от своей рухнувшей любви», – сказала портрету Кира.

Году в двадцать третьем или в двадцать четвертом Клара, наконец, решится оставить своего «мерзавца-мужа» и переехать в Москву, где уже обосновались Боря и оба ее брата. Ее ждали с надеждой и нетерпением.

1922 г., 20 мая

Боря – Кларе

Москва – Николаев

Кларушка, родная моя! Был бесконечно счастлив, когда читал твое письмо. Этими надеждами я жил, кажется 3 года. Но теперь, когда речь идет о том, чтобы ты переехала сюда, в Москву, я предчувствую торжество нашей любви. Я уж не дождусь того дня, когда мы будем вместе.

Если и предстоят страдания и некоторые лишения на короткое время, то в любви, в счастье, в своем родном кругу и все во имя будущего.

Крепись, Кларуша, родное мое дитя, сохраняй свои силы, всю свою красоту, которой в тебе так много. Не страшись своих лет, ничего не бойся, ведь ты так еще молода, столько в тебе еще жизни, красоты. Не страшись моих лет. Ведь я с каждым днем

становлюсь все старше и зрелей, а годы одни – это только отвлечение цифровые, ничего не говорящие...

Ты знаешь, как я люблю тебя, и ничего не бойся, родная, ты увидишь, каким я еще буду...

Клара проживет в Москве 13 лет и умрет перед войной, в тридцать восьмом году, по семейной легенде – от заражения крови после пластической операции. Она была для Бори той самой единственной, которую не могли заменить ни мимолетные романчики на гастролях, ни новая женитьба. «Я бы в коляске возил свою Кларуньку, только бы она жила», – рыдал он после ухода любимой. «*Кларуньке – единственному другу и жене*» – высек он горькие слова на памятнике из черного гранита на старом московском кладбище. «Что ж, – думала Кира, продолжая со своего лежбища рассматривать портрет, – стремление омолодиться вполне объяснимо, особенно когда женщине переваливает за пятьдесят, а мужу всего лишь сорок. И все же... кажется, что не только злополучная операция скоростно унесла Клару в могилу».

Кира повернулась на бок и оперлась головой на согнутую руку. Так было удобно смотреть на Кларин портрет. К тридцать восьмому году двоюродная бабка пережила уже столько потерь, что, пожалуй, хватило бы на три жизни. Девочкой она потеряла мать, свою «Еву». Потом – жизнь, взметенная вихрями революции, ужасы гражданской войны («...*Большевики заняли город, грабежи, убийства на улицах*» – свидетельствует семейная переписка), подлая измена мужа, уход Зитты. Через пару лет после Зитты отец, «Адам», отверженный своими детьми, выселенный новой властью

из собственного дома, обнищавший обитатель дворницкой, находит успокоение в водах Бугского лимана. Клара предпринимает спасительное бегство в Москву, к любящему Боре и братьям. Но судьба не оставляет эту семью в покое. В тридцать шестом году, в муках и тоске, видя, как рушится дело его жизни, умирает старший брат, – тут Кира перевела взгляд на другую стену, где висел портрет деда. Лица брата и сестры смотрели друг на друга с противоположных стен комнаты – красивые и навеки молодые. «А еще через год арестовали младшего, Александра, Сюньку, и отправили по этапу в «столицу Колымского края», – Кира поднялась в постели и печально покивала портретам головой. – Так что неизвестно, в операции ли дело или в безнадежной усталости сердца, от которой Клару не смогла охранить даже неиссякаемая Борина любовь», – сказала она портретам, и внимательно в них всмотрелась, будто надеялась услышать от них ответ. Потом опять легла и натянула плед до самого носа. Слабость не проходила, казалось, что вся жизненная сила вытекает из тела через кончики пальцев.

Кири́н роман с «белогвардейцем» оказался далеко не таким счастливым и ярким, как у Клары и Бори, хотя та любовь расцвела во времена страшные. Кира очень скоро поняла, что она для ее красавца-музыканта вовсе не единственная. Не ее, не маленькую дочку, не жену, не мать любил «белогвардеец» больше всего на свете. Самой большой его любовью был... он сам. Поступиться хоть малостью ради кого-то другого, потратить хоть копейку не на себя, дорогого, а на кого-то еще, помочь деньгами вечно болеющей жене, купить игрушку дочке, подарить букетик цветов люби-

мой женщине, лишний раз позвонить родителям, сделать усилие над собой, чтобы закончить институт или выполнить порученную работу было для него делом немыслимым. Он летел по жизни развеселой гудящей стрекозой, непоколебимо уверенный, что рабочие муравьишки должны приходить в непременный и окончательный восторг лишь от одного его присутствия. Это была даже не самоуверенность, а твердая и трогательная в своей искренности вера. Отяготить свою священную особу хотя бы самонаименьшими обязательствами перед кем бы то ни было он просто не мог – они бы замутили кристально чистое зеркало его нарциссизма.

Их «гостевой брак» продолжался года три. Кира никак не могла справиться с женской жадностью – зачем же бросать то, что само пришло в руки, – и с переменным успехом пыталась поддерживать огонь в сыроватом, то и дело норовящем погаснуть очаге. Как-то раз, прекрасным светлым утром, оставив своего друга досматривать последние сны на любовном ложе, она вышла на кухню. Первые лучи солнца уже скользили по стенам, играли на гладкой поверхности плиты и никелированной трубке крана. Кира подошла к мойке, оперлась на нее обеими руками, ссутулилась и замерла. Вдруг вспомнила, как с месяц назад Миша неожиданно резко и незаслуженно сделал выговор ее восьмилетнему сыну. Мальчик обиделся, убежал в комнату, Кира пошла за ним, уговорила вернуться. Их «семейный ужин» продолжился, Кира успешно исполняла роль миролюбивой хозяйки, но этот неожиданный выпад против своего ребенка не забыла.

Сейчас она стояла над мойкой, уставившись неподвижным взглядом в ее влажное белое нутро. Ночь, раскаленная как печка от

прерывистого дыхания, объятий, горячего шепота, остыла, ушла, сменилась ясным утренним светом, будто проникающим в потайные закоулки души. «И зачем мне все это нужно?» – неожиданно и пронзительно подумала Кира.

Спустя примерно час они сидели на кухне за столом друг против друга, молчали, прихлебывали кофе, и Кира физически ощущала глухую стену, вдруг выросшую между ними. Чувствовал ли это же Миша? Может быть, но Кире это было уже не интересно. Он сделал свое дело – помог ей выбраться из тупика несбывшейся любви, вернул уверенность в женских силах – теперь он мог уходить. И он ушел. Кира немного погрузила, даже чуть поплакала (как же без этого!) и принялась за обычные дела. Вот и эта связь угасла, как угасает слабенькое пламя на остывающих углях.

Потом были еще некоторые попытки расшевелить угли, кто-то стучался у ворот замка Кириного одиночества, кто-то входил под его холодные своды – ненадолго, не оставляя следов. Однажды она краем глаза заметила, как ее приятель, не разжимая нежных объятий, у нее за спиной кинул взгляд на часы – он спешил по делам. Кира не сказала ни слова, но в ту же секунду мысленно поставила жирную точку в их отношениях. Проводив его, она вышла на балкон, оперлась о перила, глубоко затянулась холодным, терпким воздухом осени, беспощадным внутренним взглядом окинула свою прошедшую жизнь и решила спокойно и бесповоротно: «Видно, любовь не для меня придумана. В эту игру я больше не играю! Никогда!»

Кира потягивалась на своем лежбище, похрустывала суставами.

День клонился к вечеру, хотелось перекусить, от утренней дурноты не осталась и следа, настроение поднялось. Она пропускала свет уходящего дня сквозь ресницы и улыбалась, чувствуя, как теплеет на сердце: «А такая ли уж бесплодная была эта игра? Сколько душевной работы, тревог, волнений, боли, радости довелось испытать! Нет, ничего из пережитого не кануло зря, все живо в памяти, все стало частицей души.

А страхи, нервы, сердце, гостя – это ведь просто тяжелый сон! А что ж ты хотела на восьмом десятке? – насмешничала она над собой. – Вот отдохнула, оживила воспоминания, освежила память – и все прошло! Никакой госты, никаких нелепых страхов!»

Но в ту же минуту ее лицо вновь покрылось липкой испариной: рядом со своей кроватью она слышала тихий шелест. Сдержав тоскливый стон, Кира приподняла голову – гостя сидела около журнального столика и медленно переворачивала листы Кириного семейного «архива»...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПОД ПАРУСОМ НАДЕЖДЫ

Мир так устроен:
Была бы надежда – пусть не хватает сил.
Булат Окуджава

Глава 1.

Надежды маленький кораблик

Кира неохотно выбралась из мягких объятий пледа, села на постели и, скосив глаза, кинула взгляд на гостью. Та, все так же не говоря ни слова, шелестела страницами «архива». Стараясь подавить нарастающее раздражение, Кира сделала глубокий, до ломоты в груди вздох. «Надо бы встать, предложить ей чаю», – устало подумала она. Но шевелиться не хотелось, слабость не проходила, и Кира продолжала безвольно сидеть на кровати, обводя глазами привычную, как старая удобная одежда, комнату: книги, книги, книги – от пола до потолка. Внизу золотились корешки старинной энциклопедии на немецком языке, привезенной ее дедом из Швейцарии более ста лет тому назад, а выше громоздилось, плотно прижавшись друг к другу, целое сонмище печатных изданий, толстых и тонких, дорогих и дешевых, собранных ее родителями, ею самой, сестрой и дополненных их сыновьями.

Тем временем молчаливое присутствие не в меру заботливой гостью раздражало Киру уже не на шутку. Она встала с постели, резким движением забрала у гостью из рук «архив», подошла к окну и положила свою папку на подоконник. Вышло грубо, но Кира

надеялась, что гостя, наконец, все поймет и уберется восвояси, однако та продолжала с тупой настойчивостью восседать в кресле. Кира самым невежливым образом повернулась к ней спиной, вперилась взглядом в небосклон за окном и принялась усилием воли отвлекать саму себя от закипавшей злобы. В конце концов ей это удалось, она немного успокоилась и, провожая взглядом бесшабашный полет какой-то хулиганки-вороны, погрузилась в свои размышления.

С самого детства Кире нравилось вот так стоять у окна, поглядывая на птичью суету и разложив перед собой на подоконнике книжку, лучше всего – уже знакомую и любимую. Это было чудесное занятие – листать страницы взад и вперед, находить и снова перечитывать самые интересные, захватывающие места.

«Как сильно в нашей семье это стремление к слову, к литературе, к книге», – тихо улыбалась Кира, радуясь тому, что воспоминания помогают справиться с раздражением. Столпотворение разноцветных и разномастных книжных обложек в шкафах у нее за спиной вдруг представилось ей обшивкой семейного кораблика, упрямо бороздящего штормящее море жизни и судьбы под парусами, сшитыми из бесчисленных страниц и наполненных ветрами надежд. Это сравнение Кире очень понравилось. Разве в их семье могло быть иначе? Вся жизнь семьи вертелась вокруг книги. Книга, литература была профессией ее родителей, любовью, которой они всегда оставались верны, основой воспитания детей, а чтение считалось лучшим и основным досугом. Сестра, повзрослев, говорила: «Я происхожу из семьи, в которой царило почитание книги». Вспомнив эти слова, Кира усмехнулась: «Вернее было бы сказать,

что книга была полноценным членом нашей семьи, мерой человеческих достоинств. С самого детства нам, пожалуй, даже не специально, а исподволь внушалось, что человек мало начитанный, не любящий литературу, подозрителен и не заслуживает доверия».

Тут Кире на ум пришел маленький эпизодик из детства, совершенно незначительный и, казалось бы, давно забытый: класс второй или третий, она возвращается из школы, переполненная брызжащим счастьем, как налитый до краев стакан лимонада, – отметки получены неплохие, впереди – субботний вечер, а завтра – воскресенье, свобода и долгий утренний сладкий сон! Но самая главная радость – новая подружка. Кира подружилась с Наташей, которая недавно пришла в их класс из другой школы.

Дверь открывает бабушка, и на лестничную площадку вырываются умопомрачительные ароматы ее знаменитого куриного «бульончика с лапшичкой».

Склоняясь над тарелкой волшебного супа, Кира с восторгом принимается рассказывать бабушке о новой приятельнице. Получается немного сбивчиво, потому что Кира торопится передать самое главное: мало того, что Наташа – добрая, но она еще и на редкость храбрая!

«Представляешь, ба, – торопится Кира, дуя на ложку огнедышащего бульона, – у нас учится Захарычев. Ну, он второгодник, здоровый такой, наглый – до ужаса! Его все боятся. Не связываются. С ним и учительница не всегда может справиться. А чего – не слушается ее и все тут. И вот этот Захарычев принялся на перемене приставать к Матвееву. Прижал его к стене и давай тыкать в него кулаком вот так – и Кира, положив ложку, показала захарычевские

тычки. – А Матвеев – он тихий такой, странный, учится плохо – он после этой... болезни... как ее... после менингита. Вот! Ну, Матвеев стоит у стены, красный, почти плачет, но никто не вступается, боится по шее от Захарычева схлопотать! И тут, представляешь, Наташа, маленькая, худенькая – во-от такая, – и Кира показывает бабушке вытянутый мизинец, – как налетит на него, как прикрикнет! И тот, представляешь, ба, струсил и сразу от Игоря отстал! Надулся, как индюк, забормотал: «Ну, ты чего? Ты чего? Чего пристала?» – и со стыда к-а-ак дунет из класса!»

Кира очень гордится своей новой дружбой, и ей еще много хочется рассказать о том, какой Наташа настоящий друг. Прикончив бульон, она поднимает глаза и вдруг отчетливо видит, что бабушке ее рассказ не так уж интересен. Ее, оказывается, волнует совсем другое. «А эта твоя Наташа, – спрашивает она Киру, – что она читает? Она начитанная девочка?» И Кира замолкает. Ей как-то не пришло в голову поинтересоваться у новой подружки, читала ли она Жюль Верна, Майн Рида и сколько стихов Пушкина она знает наизусть. И Кира понимает: новая подружка, может быть, и добрая, и смелая, но если она недостаточно много читает, Кириным родным она не понравится никогда! Она свешивает нос над тарелкой и, отчего-то потеряв аппетит, ковыряет вилкой пюре. Вопрос о том, был ли начитанным мальчиком любимый ею Дик Сэнд, пятнадцатилетний капитан, не приходит ей в голову.

«И уж, конечно, недаром мама неустанно повторяла эпизод из собственного детства, видно нам в назидание, – вспоминала Кира, за спиной которой на книжных полках выстроились, подобно бое-

вому строю, поэтические сборники, когда-то любовно собранные матерью. – Про то, как ее тетка Каля сказала, когда увидела, что племянница чтению предпочитает беготню и дворовые игры, преимущественно в компании мальчишек: «Если она не будет любить читать, пусть лучше умрет». Вот так – ни больше ни меньше! И мама, будучи ребенком впечатлительным и, по-видимому, приняв слова тетки всерьез, – хихикала сама с собой Кира, не заботясь о том, что может подумать гостя о подобных странностях, – не на шутку испугалась перспективы безвременной кончины, начала читать да постепенно так прикипела к этому занятию, что посвятила литературе всю свою жизнь и стала в конце концов прославленным переводчиком».

Именно мать привила дочерям особую тягу к поэзии. «Мы ведь шестидесятники», – говорила сестра. И вновь Кира усмехнулась: «Смешно звучит, конечно. «Шестидесятники»... К началу шестидесятых годов сестре не было и пяти лет, а мне – одиннадцати. А все же доля истины в этих словах, пожалуй, есть».

Кира, чувствуя спиной присутствие молчаливой гостьи, опять стала злиться. Пришлось снова делать над собой усилие, чтобы охладить себя погружением в колодец памяти. С высоты десятого этажа ей открывался вид на дворы и улицы, мало изменившиеся с детства, разве что теперь сильнее запруженные машинами. Она вспомнила домашние вечера, себя, школьницу начальных классов, сидящую за уроками, а на самом деле – прислушивающуюся к негромким разговорам старших – мамы, папы и бабушки. Они говорят вполголоса, но так взволновано, что Кира пугается.

— Вызывают!.. — слышит Кира тревожный голос мамы. — Завредакцией объявили выговор по партийной линии. У меня та-а-кой состав в этом сборнике!

Тревога в мамином голосе нарастает, она больше не сдерживается: «Что теперь будет?! Что делать?»

Кира пугается всерьез. Ей уже не до упражнения по русскому языку. Она не понимает, куда вызывают маму, но понимает, что это какое-то чрезвычайно опасное место, и волнуется, несмотря на то, что слышит успокаивающий, но все равно повышенный от напряжения голос отца. Она знает, о каком сборнике идет речь.

В середине шестидесятых мать работала в одном из крупнейших московских издательств над сборником стихов русских поэтов XX века. Сборник предназначался для стран соцлагеря, гражданам которых предписывалось обязательное изучение русского языка. Впрочем, совершенствовать русский по задуманному составительницей сборнику было делом вовсе не последним. Расхрабрившись от пряного воздуха свободы, проникшего через маленькую щелочку «оттепели» в железобетонный советский зиккурат, мать включила в сборник крайне неблагонадежные имена Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, Мандельштама. Маяковский предстал в ее подборке не как «трибун, горлан, главарь», не как автор агиток с плакатов РОСТА, а как пронзительный лирик. Завершала сборник поэзия шестидесятых, то свежая и порывистая, как морской ветер, то пронзительно лиричная, как разговор по душам с близким другом. С точки зрения господствующей идеологии «та-а-кой состав» оказался весьма подозрительным и пришлось категорически не по душе деятелям из «министерства правды». Именно об этом *ИХ* не-

удовольствии тревожно шептались по вечерам мама с отцом. Но времена на дворе, как бы то ни было, стояли «вегетарианские»: маме, конечно, дали по рукам, лишили на полгода зарплаты, ее начальнице вкатили выговор за недостаточное бдение, а сборник частично искромсали. Но главное было сделано: Поэзия вошла в их дом величественной поступью серебряного века, пронзительностью стихов военной поры, свежим дыханием оттепели, ни с чем не сравнимым бардовским тембром. С тех пор Кира приобрела привычку воспринимать окружающий мир *как образ, явленный в слове*, и никакой Главлит не властен был это изменить.

У Киры, все так же стоящей у окна, вдруг перехватило дыхание: в лучах солнца, клонящегося к горизонту, небо вспыхнуло багровым цветом. Эти яростные всполохи ударили – как показалось Кире – в голову и факелом высветили картинку из беспощадно далекого детства. Ей привиделся угасающий под таким же багряным закатным небом день на даче, мать с отцом и их друзья сидят в кружок на бревнышках вокруг маленького костерка из опавшей хвои и прутиков и тихо, с каким-то особым проникновенным выражением то ли поют, то ли декламируют странные слова:

Неистов и упрям
Гори, огонь, гори...
На смену декаблям
Приходят январь...

Огонь в костерке потрескивает, перепрыгивает с веточки на веточку, будто тоже принимает участие в этом негромком людском пении. Кира не понимает, нравится ли ей песня или нет. Песня несколько не похожа на бравурные гимны, несущиеся из радиоточек и с телеэкранов, на бодрые пионерские песни, которые разучивают на уроках пения в школе, но Кира очень довольна, что сидит среди взрослых, и они не сюсюкают: «Тебе, наверное, не очень понятно!.. Не доросла еще», а принимают, будто равную, потому что поют при ней эти непонятные, совсем не детские стихи.

Прожить лета б дотла,
А там пускай ведут
За все твои дела
На самый страшный суд...

Десятилетней Кире невдомек, как можно прожить лета дотла и что такое страшный суд. Имя поэта, написавшего про неистовый и упрямый огонь, она впервые увидит несколько лет спустя в том самом мамином сборнике, и оно покажется ей непривычным и даже смешным. Пройдет еще долгих четыре, а то и пять лет, пока Кира сама не научится петь эти странно-волнующие слова, положенные на внешне простую музыку, которая почему-то запоминается с первого аккорда и первой приходит на ум, будто на помощь, во дни *разлук и смятений*. Но это будет потом, а сейчас, у маленького дачного костерка она просто чувствует детской душой завораживающую силу непонятных слов, и ей кажется, что каждый из сидящих

вокруг нее взрослых думает о чем-то своем, о какой-то своей мечте, о своей надежде.

«Надежда у Окуджавы – совершенно особенный образ, пожалуй, единственный в литературе, – размышляла Кира, рассеянно скользя взглядом по крышам соседних домов. Раздражение и непонятное беспокойство прошли, на душе стало тепло от воспоминаний, приятно было уплывать в их потоке от тревог сегодняшнего дня. – У него Надежда – не абстракция, не состояние духа, а женщина – живая, зовущая, мать, сестра или подруга, единственная и последняя опора в роковую минуту. Только из фронтового опыта, *под свинцовым дождем, лупящим по спинам без снисхождения*, может возникнуть такой образ, только человек, «понюхавший пороху», может так написать:

Надежда, я останусь цел,
Не для меня земля сырая,
А для меня твои тревоги
И добрый мир твоих забот...

Кира вполголоса промурлыкала эту строфу и, обернувшись, кинула быстрый взгляд на портрет деда на противоположной стене. Всякий раз, с ранней юности, услышав строки «Сентиментального марша», она отчего-то вспоминала о человеке, чей серьезный и, пожалуй, испытующий взгляд сейчас смотрел на нее с портрета.

Будучи во втором классе, Кира сделала серьезнейшее открытие. Им задали прочитать и пересказать некий рассказ из хрестоматии.

Нельзя сказать, чтобы рассказ сильно заинтересовал восьмилетнюю Киру: в нем, как во многих других рассказах, которые проходили в школе, смелые, умные, благородные красноармейцы в пух и прах раздвигали жестоких, но трусливых и туповатых врагов. У Киры в семье часто вспоминали о войне, что случилась когда-то, много лет назад, до ее рождения.

Отец о войне говорил постоянно. Он был родом из Молдавии, из села под городом Кишиневом, с той территории, которая (как Кира поймет, уже будучи достаточно взрослой) отошла Советам в 1940-м году. Год спустя после этого румынские фашисты, покровительствуемые Большим Немецким Братом, вступили обратно на земли Бессарабии, которые они считали своими, и дали волю накопившейся ненависти, особенно по отношению к «жидам и коммунистам». Кира не могла бы точно вспомнить день и час, когда она узнала историю своих других бабушки и дедушки. Сколько она себя помнила, столько она знала, что вся папина семья – его родители, сестренка и братик – были замучены, убиты фашистами, пока их старший сын – Кирил папа — был в Красной армии под Сталинградом. Вернувшемуся с фронта парню никто не смог сказать ни слова о том, как они погибли и где похоронены, – их просто *не стало*. Какой-то добрый человек, возможно, дальний родственник, чудом выживший в Кишиневском гетто, на надгробном камне своей семьи выбил имена исчезнувших папиных родных. У этого серого могильного камня отец Киры получил душевную рану, не перестававшую кровоточить до конца его дней. Вероятно, тогда у него и зародилось зернышко некоего долженствования, которое с годами неуклонно росло и в конце концов вызрело в несомненный

императив: «Я остался жив на той войне, чтобы написать книгу о них... обо всех». Он долго шел к этой своей цели, копался в свидетельствах других, а более всего – в собственных воспоминаниях, переписывал, перекраивал, писал от руки, стучал на машинке, а позже, уже в новейшее время, – на клавиатуре компьютера, и наконец книга явилась на свет. «Тут они все – твои бабушка, дедушка, тетя, дядя... и другие», – говорил отец Кире, легонько потрясая компактным, средней толщины томиком. Долг был отдан, дело жизни – завершено, в обшивку семейного кораблика добавлена еще одна досточка. Через несколько месяцев после презентации своего романа отец умер.

Оставшаяся у Кире единственная бабушка тоже довольно часто вспоминала о войне. Ее воспоминания всегда были отрывистые, даже не воспоминания, а, как казалось Кире, обмолвки, обмылки памяти. «В войну, в эвакуации, – не к месту говорила бабушка, когда все семейство, например, сидело за ужином, – жили в-о-от в такой махонькой комнатухе, узенькой-узенькой, как пенальчик». Или: «Приехали в Чарджоу, на базаре вещички выменяла на еду. Потом нас переправили в Ташкент... Хорошо, была пишущая машинка – я печатала, еще в госпитале работала... хоть чуточку зарабатывала...» А то вдруг – ни к селу, ни к городу, просто увидев снег за окном: «Как стали немцы подходить к Москве, мы и уехали с Котей (детское прозвище Кириной мамы) в эвакуацию...»

Бабушкины обрывки воспоминаний подтверждала мама: «Бомбили Москву каждый день. Ровно в девять часов – сирены воют, летят, сволочи! По этим немцам можно было часы сверять! Мы – в

метро, ночами там сидели, мама подушку для меня брала. Назад возвращаемся, волнуемся – стоит наш дом или нет? Глядим – стоит! А немцы уж под Москвой были, мы и отправились в эвакуацию. Ехали месяц, пересаживались из поезда в поезд, я с этой машинкой чуть не надорвалась, – и мама кивала на старую, тяжеленную печатную машинку с красивым именем «Мерседес», которой теперь пользовался Кирилл папа. – Ею и спаслись: мама печатала, хоть что-то платили. Без нее совсем бы пропали, наверное».

Но время от времени бабушка принималась рассказывать что-то совсем ужасное, пугающее и непонятное: «Как было страшно в ту войну! То белые возьмут Николаев, то красные, то Махно, то Петлюра. Утром выглянешь в окно – эти на фонарных столбах висят. Через неделю-другую, глядь, власть переменялась – другие на фонарях! Вот была война так война!»

О войне говорили по радио, рассказывали приходящие в школу ветераны с иконостасами медалей на груди. О войне были любимые Кирины песни про партизан, сходу берущих Приморье, белой армии оплот, и про страну огромную, вставшую на смертный бой с фашистской нечистью. Никакого различия между Москвой, ежедневно подвергающейся бомбежке, и Николаевым, где противники вешали друг друга на фонарных столбах, Кира до поры до времени не находила. Она была уверена, что это эпизоды одной большой и страшной войны, которую вела Красная армия с жестокими и подлыми врагами – белыми-немцами-фашистами.

Так дожила Кира до того самого урока чтения во втором классе, когда учительница вызвала ее к доске и попросила пересказать заданный на дом рассказ.

Кира приосанилась и решила блеснуть эрудицией. «Красные, – говорила она перед притихшим классом, – притаились в зарослях тростника, а немцы в это время...». Но тут учительница прервала ее. «Белые», – произнесла она имя врагов. Однако Кира сдалась не сразу, решив, что учительница чего-то недопоняла. «Фашисты», – погромче, с усиленным выражением выдала Кира, и вновь учительница ее прервала. «Бе-лы-е», – медленно, четко выговаривая слоги, повторила учительница, будто хотела что-то вдолбить в Кирину запутавшуюся голову. И тут до Киры дошло: «Стало быть, белые – это не немцы-фашисты, и это какая-то другая война, не та, которая с «фашистской нечистью», погубившей папиных родных, с бомбардировщиками над Москвой и эвакуацией в Среднюю Азию». Оказывается, было две разные войны и очень страшные: одна, не такая уж давнишняя – всего пару десятилетий назад – с фашистами, другая – далекая, гражданская, на которой *«комиссары в пыльных шлемах склонялись молча»* над погибшим товарищем, партизаны брали «Приморье – белой армии оплот», а красные и белые вешали друг друга на фонарях города Николаева. А Кира, глупая, не понимала этого! И это она-то, Кира, внучка своего деда, боевого комиссара гражданской войны!

С высоты прожитых лет Кира устыдилась своей детской невнимательности к семейной истории, и принялась листать свою папку, в который раз пробегая глазами документы и записи деда.

Мобилизационный листок

Комполитсостава РККА

Шульгин Михаил Александрович

Партийность – ЧЛ. ВКП(б) с 1918 г.

Рев. стаж с 1914 г.

Прохождение службы в Красной армии

- 1. В Кавдивизионе 3 армии добровольцем-рядовым – 1919, апрель*
- 2. В 54 строевом полку, отозван губкомитетом. г. Одессы – 1919, июль*
- 3. В 1 Красном строевом полку, добровольно рядовым – 1919, август*
- 4. В 401 полку 45 дивизии – военком полка – 1920 г.*
- 5. Политотдел обороны Зап. Черноморского Сектора – инструктор – сентябрь 1920 – 1921 г. г.*

Бытность в походах и делах против неприятеля в составе Красной армии или гвардии:

- 1. в Районе румынской границы с Кавказской дивизией 3 армии, 1919, апрель-май*
- 2. В боях с петлюровцами, галичанами при отступлении с юга Украины на север 1919, август-октябрь*
- 3. С 401 полком на фронте Юденича – 1919, октябрь-ноябрь*
- 4. К румынской границе, 1919, декабрь*
- 5. Польский фронт. Участвовал во всех боях 401 полка, до мая 1920 г.*

Вот какой был у Киры дед! Недаром Кире как-то по-особому всегда выпевались слова оруджавского марша. Ведь это точно сказано о деде:

Надежда, если надо мною
Смерть распахнет свои крыла,
Ты прикажи, пускай тогда
Трубач израненный привстанет,
Чтобы последняя граната
Меня прикончить не смогла.

Всю жизнь, сколько Кира себя помнила, дед из массивной деревянной рамы на стене пристально и серьезно наблюдал жизнь семьи. Когда она задерживала взгляд на портрете, ей начинало казаться, что дед хочет о чем-то строго ее спросить, а может быть – по-комиссарски сурово отдать какой-то приказ, как это он делал на той «*единственной гражданской*»!

Из воспоминаний военкома 401 полка 45 дивизии

Ноябрь 1919

Рославль. Боевой приказ командарма полкам 45-й на помощь Питеру против Юденича. Среди украинских и бессарабских партизан (90 процентов всего состава дивизии) волнение-смута: безудержная тяга к родным полям, защищать «родную Украину», «родную Бессарабию». Один из козырей смутьянов: «босы-голы, зима лютая, а ближе к Питеру – еще лютее»...

Собрал полк на митинг... Властным криком кричу: кто самый раздетый – выходи! Сотня сунулась плечами, руками вперед, лица хмурые: «Чего тебе, голых мало, что ли, гляди...»

...Сбрасываю полушубок с себя, швыряю на чужие руки. Быстро сбрасываю сапоги со своих «комиссарских» ног – всовываю в руки «обутого в тряпицы» и трублю, как будто передаю слова команды: «Такой же я теперь босой и голый, как и вы. Если не выдержу на босу ногу да без шинели – захнычу – стреляйте меня, хлопцы, первого. Но не взыщите, коли и я велю расстрелять от вашего имени всякого, кто захочет предать-изменить рабочекрестьянскому делу и как трус откажется выполнять боевое задание революции».

...Резолюция 401 полка была готова: «...Боевой приказ выполнять, чтобы беречь нашу Советскую власть».

В детстве и ранней юности человек на портрете был для Киры просто рано умершим отцом мамы и мужем бабушки, чью память они обе чтили светло и благоговейно. «Мой Михаилушка», – вздыхала бабушка с такой горечью, будто белый катафалк увез единственную любовь ее жизни с Фурманного переулка на Ваганьково всего лишь несколько дней тому назад. Кириной маме было тогда девять лет, она помнила обоим у кровати отца, изодранные его ногтями от нестерпимой боли, белые гладиолусы, усыпавшие гроб, и свою маму, которую под руки привели с кладбища – силы ее оставили и не вернутся еще полгода. Все это время после похорон мужа вдова будет лежать на постели, безучастная ко всему, оставив даже маленькую дочь на попечение ее тетки Кали и соседей. Десятиле-

тия, прошедшие с того дня, сердечную рану Кириной бабушки так и не излечат, а ее дочь возненавидит гладиолусы на всю жизнь.

По мере взросления Кира все больше узнавала о деде – уже не столько по скудным отрывочным воспоминаниям родных, сколько от него самого – по остаткам его записей и дневников.

Дневник деда

12 августа 1924 г.

Апрель – май – июнь – июль 19-го – огненная проба. И вдруг все становится ослепительно ясным. Как хорошо – когда правда! Я силен. Я правдив. Я – революционер, подлинный бунтарь, и никогда не перестану быть им. Я пролетарий такой же, как и класс мой, с которым я спаян, как кость с костью, как плоть с плотью. А пуще и лучше всего – моя воля неизбывная быть все больше и больше правдивей и сильней и революционной, быть все большим пролетарием... Быть подлинным большевиком-ленинцем. И я им буду!

И он действительно БЫЛ им – подлинным большевиком-ленинцем, рыцарем революции, истово и бескорыстно преданным делу, которое считал священным.

5 марта 1925 г.

В Ц.К.К.

Мы, красноармейцы и комсостав 134 стрелкового Приднестровского Полка 45-й Краснознаменной дивизии (Волинской), члены КПБУ и беспартийные, считаем долгом сообщить...

1. Т. Шульгин прибыл в 401 полк 45-й Дивизии ... в октябре 1919 года в г. Рославль Смоленской губ., ... на должность политическо-го комиссара (военкома) 401 полка.

2. Составленный из красных партизан Приднестровья, 401 полк в лице т. Шульгина получил впервые за время своего существования образцового комиссара-массовика партийца и опытного руководителя политпросветработой.

3. В ноябре 1919 г. голодовки и эпидемия тифа требовали грандиозной работы и колоссальной энергии для поддержания боеспособности полка, и эту работу выполнил коммунистический коллектив полка под неослабным руководством тов. Шульгина, успевшего заслужить доверие и любовь красноармейцев постоянной заботой об их благосостоянии, жившего в общих бараках с красноармейцами и вникшего в мельчайшие детали их повседневной жизни. Кр-цев 401 полка привлекала в новом комиссаре его полная готовность самопожертвования, о чем свидетельствовала бедность его одежды и полное забвение о своем здоровье.

4. В дальнейших боях на южном фронте против Деникина и Махно с ноября 19 года до марта 20 г. и на польском фронте до апреля 1920 года т. Шульгин неизменно проявлял высокую доблесть коммунара-бойца в убогой одежде, в трескучий мороз, всегда вперед несмотря на жестокий ревматизм и слабость зрения, часто личным примером увлекал разведчиков и боевые цепи стрелков 401 полка. В то же время т. Шульгин участвовал в разработке всех операций, не оставляя руководства организационной стороной партийной жизни полка по обработке вступившего в партию за время партнедели молодняка.

5. Во время ночной атаки поляков на наше расположение и среди поднявшейся паники т. Шульгин в самом разгаре боя восстанавливал расстроенные части для контратаки.

6. У нас, ветеранов 401 полка и 45 дивизии, связаны с именем т. Шульгина лучшие воспоминания о революционных боях прошлого и трудной работе компартии по созданию революционных боеспособных частей Красной Армии.

Свидетельства боевого прошлого – лучшая порука т. Шульгина в его активной работе и безусловной деятельности идеям и задачам РКП (б).

Ветераны полка

Подписи и номера партбилетов.

Кире вновь ужасно захотелось обернуться и взглядеться в лицо человека на портрете, задать ему мысленно какой-то назревший в глубине души и лет вопрос. Но если обернешься – встретишься глазами в глаза с гостьей, и она, чего доброго, примет это за поощрение к дальнейшему общению. А Кира изо всех сил старалась показать гостье, что ее присутствие стало обременительным. Поэтому она продолжала все так же стоять лицом к холодному оконному стеклу и тихонько бубнить себе под нос.

«А ведь, в общем, повезло ему, *израненному трубочу*, – тихо рассказывала Кира пролетающим за окном птицам, вспоминая по несколько раз перечитанные дедовские бумаги из своего «архива». – Повезло, как только могло повезти таким, как он, – чистым, жертвенным бойцам революции, глубоко чуждым ее скрытой, тайной сути, гибельной для их надежд и внутренних убеждений:

Дневник деда

1926 г., 6 февраля

Какая густая, почти непонятная сеть противоречий!
Я коммунист.

...Я ненавижу звериной ненавистью все обособленное, индивидуалистическое, аристократическое. Ненавижу карьеризм, личный расчет в общественном деле, не понимаю, как можно обмануть общественное доверие, как можно быть вождем в партии и не быть кристальным коллективистом до абсолютного самозабвения.

...И наряду с этим я злостный индивидуалист, неисправимый, как наркоман. Я влюблен в одиночество, в самоковыряние. Я обуян культом самосовершенствования, я одержим идеей личной свободы, беззаветной личной свободы: захочу, брошу все, уйду на край света. ...Могу и люблю подчиняться как механизм, но – добровольно, осиянный внутренним убеждением.

...Я со страстью мечтаю об утонченных процессах моей мысли в тишине моей комнаты, один среди груды книг, очарованный великими умами. ...Юродивая склонность к самопожертвованию и наряду с этим болезненная настороженность ко всему, что грозит моей независимости, моей личной свободе. Страстная любовь к правде, к простоте, к ясности, и в то же время сплетение самобмана, путаницы в мысли и чувствах...

Но трубач, пусть израненный, безнадежно больной, ощущающий себя... «отвратительным калекой – инвалидом, почти никому

уже ненужным... в постоянных корчах от болей, рвот, кровотечений, жестоких судорог», все равно не допустит снисходительной жалости к себе и не откажется от последней надежды. Она припасла для своего бойца прощальный дар: неумолимое желание слушать своей пылающей идее до конца – хотя бы пером!

Дневник деда

1934 г.

Я не в состоянии больше работать, но и бездействовать не могу. Если бы можно было бы пожертвовать мою жизнь для революции, я с радостью бы ее отдал за дело Коминтерна.

Что делать? На что употребить оставшееся, быть может, недолгое время? Роман, стихи? Надо быть честным – ничего оригинального я не смогу сказать в философии, то же самое в науке. Только в художественной литературе мне еще кое-что доступно, но и то лишь в форме полуфилософских очерков, социально-психологических зарисовок, писем-дневников, афоризмов. Моя давнишняя мысль – дать зарисовку типов переходного периода, напр. интеллигентов, мелких буржуа, не находящихся в себе сил для нового, обреченных на то, чтоб быть выброшенными в мусорный ящик истории. Здесь важно было бы правдиво, глубоко, в форме писем, дневников или мемуаров отобразить всю ужасную смесь старого и нового, от которой человек гибнет в противоречиях.

«Трагическая судьба! – переминалась с ноги на ногу Кира – долгое стояние уже чуть-чуть отдавало пыткой. – Умереть, мучаясь не только от невыносимых болей, но еще сильнее – от внутренних

противоречий, видя, как дело, которому ты отдал всего себя, гибнет в ржавой трясине разложения, вранья и гнусного политиканства.

И все же ему повезло! – Кира вздохнула и распрямилась. – Его прикончила не граната на *«той единственной гражданской»*, не палач в подвале Лубянки, не уголовники в колымском лагере. Он умер в своей постели, оплакиваемый любящими и родными людьми. Катафалк, усыпанный белыми цветами, приехал за ним раньше, чем «черный воронок». На его могилу поколение за поколением будут приходить его потомки – дочь, внучки, правнуки. А его Танечке, женщине практичной и ответственной, после его кончины останется лишь затаиться, поставить около входной двери чемодан с теплыми вещами на случай своего ареста и сосредоточить оставшиеся силы на материнстве. И в придачу ко всему этому останется ей целая жизнь на то, чтобы вспоминать своего «Михаилушку».

«А проживи дед чуть дольше, – в задумчивости теребила Кира листок комнатного цветка, – глядишь, в обшивке нашего кораблика была бы еще одна дощечка, под многозначительным названием *«Исторический мусор»*: о *«гнилом интеллигенте»*, тщетно пытающемся *«примирить свое противоречивое интеллигентское нутро бывшего человека»* с новой эпохой вместо того, чтоб полностью слиться с пролетарским жизнеощущением». Но такой доски в нашей обшивке нет.

Зато будет другая, – вдруг вспыхнула Кира от неожиданного прилива радостной надежды, подняв глаза на крыши домов. – Я постараюсь, чтобы она была. Да-да... И меня не обошла стороной эта семейная черта – стремление к письменному труду, к слову. А как иначе – гены есть гены!.. Вот и попробую вшить в паруса наше-

го корабля свой лоскут – книгу-память о них... обо всех... Конечно, *надо быть честной – ничего оригинального я не смогу сказать в художественной литературе.* И все же, кажется, *мне кое-что доступно, хотя бы в форме очерков, социально-психологических зарисовок, с цитатами из писем-дневников.* Надеюсь – получится... Лишь бы успеть!»

И Кира тут же принялась вообразить себе свою будущую книгу. Она представила, как начнет ее именно с истории своего деда, попытается отобразить его характер, полный противоречий, сомнений, надежд и разочарований, характер бойца и интеллигента одновременно.

«Не было такой жертвы, – прокручивала Кира в голове воображаемое начало своей книги, – которую мой дед не мог бы принести на алтарь Революции. Член Реввоенсовета города Николаева, он своей рукой подписал указ о национализации отчего дома и передаче его в собственность Советов, в одночасье превратив своего отца, еще недавно коммерсанта и домовладельца, в бездомного и нищего старика. «Я воспитал двух бандитов», – говорил несознательный лишенец о революционном выборе своих сыновей. Какое-то время он ютился в дворницкой своего бывшего дома, а потом сдался натиску нового времени и утопился в Бугском лимане.

Здесь стоило бы дать описание дома и дворницкой, внешности самого прадеда – надо найти его фотографию», – Кирины мысли погоняли одна другую. Она вспомнила эту фотографию – мама когда-то показывала ее: статный мужчина купеческого вида, с непременною цепочкой карманных часов на шнурке строго смотрит в объектив. Он сидит, а рядом с ним стоит, опираясь на его плечо,

спокойная женщина с правильными чертами лица. Обычная для начала двадцатого века фотография супружеской пары – достоинство и надежность, «Адам» и «Ева». Как представить себе этого почтенного мужчину уютящимся в дворницкой собственного дома, нищим, может быть, голодающим стариком? Бабушка вспоминала, что ее «Михаилушка» потом мучился и горько сожалел об участии отца, но интересы Революции были для него *наивысшей сверхправдой*, которая неизмеримо важнее и родственных связей, и отдельных судеб.

Дневник деда

...Таких дел и раньше всего личного примера требовала от своих членов большевистская партия. Вот почему массы рабочих и крестьян пошли за большевиками и победили.

...Правду, даешь правду, великую правду революционной борьбы и в большом и в малом. Твое право лишь на одну ложь – ложь во имя революции – но это не ложь, а наивысшая сверхправда.

«Такие они были люди, – размышляла Кира, увлекшись и совершенно позабыв о госте. – Дальше самое сложное – показать, как его собственная глубокая, искренняя, жертвенная натура начинает расходиться с очевидной реальностью, с неизбежными постреволюционными процессами, в которых нет места таким, как он. Мама со слов бабушки говорила, что в 1924 году, в период «ленинского призыва» его исключили из партии «за интеллигентскую внешность» – он носил пенсне. Про «ленинский призыв» мы еще в школе проходили».

И Кира очень живо вспомнила школьный урок истории в старших классах и духоподъемный рассказ их исторички о событиях того времени: «После смерти Ленина партийное руководство взяло новый курс на орабочивание партийных рядов. Это было неспроста, – говорила учительница, предостерегающе воздев указательный палец и сверкая стеклами очков. – Уже на X съезде, в 1921 году были недовольные тем фактом, что основу партии, провозгласившей себя «пролетарским авангардом» составляют интеллигенты. И вот, начиная с января двадцать четвертого года тысячи и тысячи рабочих и крестьян-бедняков вступили в ряды большевистской партии, и она стала по-настоящему массовой, народной партией!»

«А позже я читала, – вспоминала Кира, прокручивая в голове свою будущую книгу, – что по сути это был не «ленинский», а «сталинский» призыв: Сталин в 1924 году, после смерти Ленина, призвал к массовому вступлению в партию, и Зиновьев и Каменев его поддержали, потому что испугались огромной популярности Троцкого. В результате в партию хлынула масса рабочих и служащих, которые поначалу, во время гражданки, держались в стороне от борьбы, и теперь устремились в партию ради постов и должностей. Вот и получилось, что партийцы-ленинцы первого призыва, такие как дед и его брат, оказались разобщенными в пассивной среде новичков. Сталину, конечно, это было на руку – «старая гвардия» была ослаблена, разобщена, и ее бойцов можно было убирать поодиночке. Так что формулировке «за интеллигентскую внешность» удивляться не приходится! Совершенно очевидно, что

дед пал жертвой нового курса», – заключила Кира и опять принялась рыться в своем архиве.

Дневник деда

20 апреля 1924 г.

Чистка. Как много пережито. Какое отчетливое ощущение пустоты, никчемности, случайности всех прожитых лет. Какое огромное пустое, разбитое корыто... Ладно. Ну что, что изменишь?

Для восстановления в партии деду пришлось собирать справки от рабочих, которые могли бы подтвердить, что он настоящий коммунист, а не чуждый элемент, «интеллигент в пенсне»:

8 июля 1924 г.

Справка

Выдана комячейкой кондукторской бригады Октябрьской железной дороги в том, что тов. Шульгин действительно состоял лектором по программе Ленинского кружка с 8 апреля по 4 июня с.г. Пройдено занятий 15.

1). Все занимающиеся товарищи в кружке в тов. Шульгине, как чуждого элемента могут сказать, что это заметно не было, наоборот, чувствовали братскую и товарищескую солидарность.

2) В работе чувствовалась полная твердость как преданного коммуниста к рабочему классу.

3) В работе в дискуссии тов. Шульгин выявил полное доверие рабочих масс, доказывая, что дискуссия с мелкобуржуазным уклоном вредна.

4) Несмотря на сломанную ногу тов. Шульгин все же не покидал возложенных на него обязанностей, а поэтому про тов. Шульгина можем сказать только хорошую сторону.

*Подписи тов. присутствующих на лекции ленинского кружка
Борзейков, Журавлев, Прусась, Игнатов, Соввотеев, Козлов,
Федотов, Судробин, Цыганков*

«И вот ради наивысшей сверхправды во имя Революции, – вспоминала Кира строки из дедовских дневников, так и стоящие у нее перед глазами, – он пытается перекроить себя, свое нутро и свою судьбу, как портной перекраивает вышедший из моды пиджак».

Дневник деда

12 августа 1924 г.

*...Прочь всю дребедень, что путалась в голове и под ногами.
Дорогу!!*

Университеты, старые связи, семью, трусость, хлюпкость, интеллигентскую слюнявость, половинчатость и дряблость, страстишки и страсти, всяческую похоть и смятение, тяжесть мысли, припадки чувства и настроения, и все-все, что мешает – все прочь! ...Слейся с Великим Рабочим Коллективом и душой и телом. Тому, кто слился с великим мировым и вечным коллективом, терять ничего не страшно...

Через месяц:

15 сентября 1924 г.

Завтра с 8 часов приступаю к работе на заводе. Я – рабочий,

член Российской Коммунистической партии, последовательный большевик, пристал к берегу после долгих мытарств и скитаний. Все корабли за собой я сжигаю. Отныне противоречиям не быть – малейшее я буду нещадно вырывать с корнем. К черту Университет. К черту всякую самомалейшую общность с интеллигентщиной, с мещанской средой...

Действуй как истый революционер до конца во всем по твоему глубокому убеждению!

Прошло десять дней:

25 сентября.

Третьего дня меня трясла дикая лихорадка с поносом и тошнотой всю ночь и след. день от отравления от литья в цехе. Дух мой стал колебаться. Уж хотелось в другой цех, на другой завод. Потом снова окреп. Так по-большевистски умри, но выполни. Сейчас чувствую себя прекрасно. Работаю уж 10-й день, как вол.

Счастье – служить революции всем телом, всей душой. Чувствовать и знать и верить, что нет законов, но есть один Закон – революция во имя коммунизма, срочная, бешеная, лихорадочная революция. Какой простор! Как глубоко дышится!

«Однако дыхания хватает ненадолго, – продолжала Кира свое сочинение, пока – устное. – Здоровье, подточенное еще на гражданской, не слушается ни приказов твердой воли, ни призывов к великой цели».

10 октября

Скоро месяц, как я в литейном. Озноб, лихорадка, понос. Подчас казалось, что не под силу. Идея вывезла. Цель всемогущая, всепоглощающая. Я хочу. Так нужно. А посему нет выбора. И выходим опять на прямую дорогу твердой воли...

Я спокоен. Главное, на мелочах не сдавать. Быть честным большевиком... пускай «до смешного».

Проработав «в литейном цеху, в аду кромешном, на самой низкой ступени социальной лестницы два года подряд, спав с рабочими и жрав с рабочими, ни от кого не получивший столько личных ударов, щелчков, обманов и провокаций, как от рабочих, знающий их насквозь, вдоль и поперек», и окончательно потеряв здоровье, дед начинает видеть устрашающие результаты той «святой» революционной борьбы, ради которой он пожертвовал собой, «ложь», прикрытую демагогией, и «страшный внутренний порок» всей партийной системы:

5.10.1926 г.

Я хочу понять, где зло, где корни, кто прав, для того, чтоб знать, с кем идти. Я почти ни черта не понимаю в этом лабиринте: Троцкие перемешиваются с А. Богдановыми и Алексеенскими, Луначарские с Мартыновыми, Крупские с Троцкими, Зиновьевы и Каменевы с Троцкими и т.д., Рыковы со Сталиными... Сам черт не разберет. Бухарин плачет на груди Троцкого, Каменев шлет телеграммы Романову, Рыков и Шляпников подают в отставку в ок-

тябре, Луначарский проклиняет революцию. Нет, с такой катавасией я попаду на Канатчикову дачу.

Меня поражает странное, чудовищное несоответствие слов и дела, разложение революционности чванством, подхалимством, сытостью, чиновничеством, страхом. Пассивность, прикрываемая суестью и толчеей по «выполнению» партобязательств, подавление всякой искренней попытки всерьез бороться за осуществление директив партии и ЦК, тупик снизу доверху, сквозная ложь, которая прет из каждой строки нашей официальной прессы, когда говорят о настроениях рабочих, – в этом я вижу «систему», какой-то страшный внутренний порок вопреки воле и представлениям официальной линии.

Большую часть записей мужа бабушка сожгла вскоре после его смерти. Молодая вдова, оставшаяся с девятилетней дочкой на руках, почти без средств к существованию, не могла не слышать о начавшихся судилищах над старой ленинской гвардией, о первых процессах 36-го года, не знать об участии друзей и соратников мужа – об исключении из партии и последующих арестах Радека, Пятакова и других. «И двадцати лет не потребовалось новой власти после победы, – думала Кира, задумчиво рисуя указательным пальцем невидимый узор на оконном стекле, как делала всегда, когда хотела додумать какую-нибудь непростую мысль, – чтобы начать лихо крутить и ломать своих *трубачей* в раскачившемся маховике, не давая им ни времени оглядеться, ни возможности что-то исправить или объяснить!»

И все же из тех материалов, которые у Киры есть, можно сделать, пожалуй, что-то интересное. Чтобы оживить время и характеры, придется, наверное, кое-что додумать, досочинить. Только бы хватило здоровья. И Кира автоматически приложила руку к левой стороне груди: там немного потягивало, покалывало, но в целом – ничем не пугало.

За спиной Киры вдруг скрипнуло кресло под тучным телом гостя, и этот тихий звук отчего-то вызвал у Киры воспоминание о сегодняшнем утреннем приступе, тоска вновь подступила к сердцу, и она со страхом подумала: «Вдруг не успею?!...»

Глава 2.

Чертоги златые

А разве ты нам обещала чертоги златые?
Мы сами себе их рисуем, пока молодые,
Мы сами себе сочиняем и песни и судьбы,
И горе тому, кто одернет не вовремя нас!

Булат Окуджава

Молчание в комнате было таким плотным, что звенело в ушах. Кира оглянулась на гостью, все так же неподвижно сидящую в кресле: полное рыхлое тело противно растеклось в кресле, но немолодое лицо в раме светлых, прямых волос поражало спокойствием и достоинством. Кира шмыгнула носом, как всегда делала в минуту сомнения, и вежливо спросила: «Может быть, чайку?» Но та отрицательно покачала головой. Ну что ж, пусть сидит, если ей делать больше нечего, но лучше – пусть все-таки уйдет. Хватит

рассиживаться! Кира положила «архив» обратно на столик у постели, и, сознавая, что поступает негостеприимно, прошла в соседнюю комнату, уселась перед телевизором и щелкнула пультом.

Экран осветился и заговорил на разные голоса. Кира отрешенно смотрела на мелькающие картинки, не вникая в их смысл и думая совсем о другом: о том, сколько вечеров она провела в этом кресле, перед такими говорящими головами, рядом с матерью. В последние годы мать все чаще возвращалась к воспоминаниям о прошлом – то к одному эпизоду своей жизни, то к другому. Сюжеты в телевизоре были для мамы лишь поводом для того, чтобы всколыхнуть волны памяти. «Дед был прав, – теперь, уже окончательно состарившись, понимала Кира, – воспоминания – «подарок» старости. Что ж, будем благодарны хоть за такой подарок!»

Дневник деда

1926 г., 10 августа

Любовь к воспоминаниям, говорят, признак старости. Потому что старость уже не хочет, уже не может существовать – прошлое уже отложилось, не требует действий, оставляет тебя в покое, в крайнем случае, вызывает сожаления. Но сожаления парализуют действия».

«Как это верно, – печально соглашалась с дедом Кира. – На старости лет мысль от любого, даже самого малозначительного толчка отправляется вспять по длинной, уже пройденной дороге, в то время как впереди – лишь коротенький отрезок пути, обрывающийся в

темноте. Вот и мама, сидя в этом кресле, каждый раз отправлялась в это путешествие в прошлое, теперь – моя очередь».

Стоило мелькнуть на экране фасаду знаменитого московского театра или отрывку из феерического спектакля, как Кирина мама немедленно погружалась в воспоминания и почти не утоленные годами сожаления.

«Ты подумай, как ей повезло! – каждый раз повторяла она, едва заведя на экране знаменитую актрису, звезду сцены и экрана. – Мы учились вместе в школе, в одном классе! Она ничем, ну ничем не выделялась! Была из очень бедной семьи, всегда в одном и том же убогом платьице, ни красоты особой, ни успехов, училась так себе. Один театр был на уме! Ничем больше не желала заниматься. И вдруг, представь себе, выходит на экраны этот фильм! Все знаменитости – и она с ними! Я просто заболела! Никогда никому и ничему не завидовала, а тут чуть не умерла от зависти! Вот уж везение так везение!»

Кира молча слушала и удивлялась тому, как долго может болеть рана от несбывшейся надежды, от упорхнувшей жар-птицы: ни годы, ни собственные немалые успехи не помогли маме совладать с душевной смутой, с утраченной мечтой – стать актрисой.

Об этом поприще Кирина мама мечтала с детства. Муж ее тетки был известным пианистом, сама тетка – чтицей художественной прозы, другая, давно погибшая тетка – Зигта – пробовала себя на подмостках, дядька – брат маминого отца – будучи ссыльнопоселенцем, пел в магаданском оперном театре, другой дядька – брат матери – обладал, помимо блестящих инженерных способностей, несомненным даром комика. Словом, актерство было растворено в

крови почти у каждого члена семейства, и девочка, подрастающая в такой атмосфере, да к тому же прехорошенькая, не могла не мечтать о трудном, но вожделенном и славном актерском пути.

Она влюблялась в знаменитых актеров, часами, иногда под дождем или снегом, стояла в проезде Художественного театра, у служебного входа, и ждала, когда выйдет из подъезда ее кумир – великий Кторов, а потом провожала его до самого дома.

Наконец, когда пришла пора, она смело обошла все московские театральные училища, везде пробовалась, везде декламировала монолог Заремы:

Но слушай: если я должна
Тебе... кинжалом я владею,
Я близ Кавказа рождена...

– и после нескольких неудач была принята в «Щепку».

Разочарование наступило довольно скоро, после первых занятий. «Никто меня особенно не замечал, никто мной не интересовался», – вновь и вновь повторяла мама, и нотки обиды, с годами потускневшей, но до конца не изжитой, позвякивали в ее голосе. Наконец, смирившись, что чертог ее златой оказался фата-морганой, она отпустила непокорную мечту, справедливо рассудив, что филология – тоже вполне достойное занятие, и не только на подмостках приобретаются успех и известность.

Но годы шли, и оказалось, что мечта не исчезла вовсе, не скрылась в недостижимом далеке, а время от времени продолжала напоминать о себе, царапая сердце.

«А все из-за того, что я маленькая, — не давала себе покоя мама. — Вот она — высокая, статная, хорошо смотрится на сцене. А что меня ждало, останься я в театре? Роли мальчишек, трагедии — до сорока лет? А потом? Нет, что ни делается — все к лучшему», — следовало правильное, выверенное житейским опытом заключение. Проходил день или два, и вновь птица-мечта начинала трепыхаться, беспокоить, поклеивать, пощипывать.

«Ты подумай, — опять огорчалась Кирина мама, будто и не было недавних выводов, полных спокойной мудрости. — Ну, имей я хороший рост, вот хотя бы такой, как у нее (мама упорно возвращалась к образу знаменитости, своей бывшей одноклассницы), *и была бы я, может быть, хорошей артисткой!*»

«Как причудливо проявляются гены! — вспоминала Кира эти посиделки с мамой перед мигающим экраном телевизора. — Ведь мамина тетка Зитта точно так же сетовала на свою внешность, не позволившую ей стать актрисой. Только там виноват был не рост (говорят, она была великолепно сложена), а складка у рта!»

12 декабря 1916 г.

Зитта — Кларе

Харьков — Николаев

Каточка, родная моя, захотелось мне сегодня написать, благо сегодня я свободна. Занята я теперь ежедневно, вплоть до вечера... И здоровье стало скверное, устаю ужасно, веки опухли неимоверно, руки немеют... Мне сказали, что это одно из доказательств тяжелого малокровия... Иногда от злобы просто обессиливаю. Черт его знает, до чего это дойдет.

Да я тебе, кажется, не писала об одном случае. Дочь нашей хозяйки окончила театральную школу. Сюда же, в Харьков перевел свою школу (в этом году) Петровский, режиссер Харьковского городского театра. Не знаю, слышала ли ты о нем, но его школа – одна из лучших в России. Принимают туда по экзамену... Да так вот эта Тоня (дочка) захотела поступить к нему, чтобы усовершенствоваться, вернее, чтобы получить аттестат школы Петровского как марку. Стала она приставать ко мне, чтобы и я пошла с ней держать экзамен. Я не хотела, тем более наряду с ней, имеющей школу и играющей уже много раз. Пошла я все-таки. Волновалась страшно. И представь себе, он меня спрашивает: «Вы уже учились?» – «Нет». – «Но играли?» – «Нет». – «Ничего страшного»... Потом позвал к себе в кабинет и говорит: «У вас прекрасный голос, мне очень нравится, как вы читаете, и вы легко зажигаетесь. Виден большой темперамент, вы имеете право на сильные роли, но есть недостаток – это то, что у вас вследствие ли того, что такое худое лицо – вы были больны? – или чего другого, но у рта скорбная складка, и вот так не заметно, а со сцены меня поразило – это просто старческий рот. Вы очень молодая девушка, и это выражение... Сколько вам лет? Потом удлиненное лицо – это много значит, и этого нельзя будет скрыть. Всегда ваше собственное лицо будет во всякой роли. И вот почему вам нельзя будет играть молодых совсем. А вы, повторяю, имеете большое внутреннее право на такие роли». Подал мне руку, долго держал мою. Надо тебе сказать, он прекрасный и в высшей степени талантливый актер и режиссер. Немолодой уже. Я, конечно, не поступила – во-первых, времени нет, во-вторых, – денег,

а в-третьих, меня очень огорчило это его замечание – оно как нельзя больше гармонирует с моим отвращением к моей физиономии. Вот видишь, милая, любимая моя сестричка, как мне и здесь не повезло. Ну, имей я теперь красивое лицо, вот хотя бы такое, как у тебя, и была бы я, может быть, хорошей артисткой, а то в довершение всего – старческий рот. Ну, скажи, не больно ли? Так бы и разбила свою голову о стену...

«А мне, – подумала Кира, вспомнив это письмо своей двоюродной бабки, и даже дернула плечом, как бы удивляясь самой себе, – дескать, странно, не так ли? – никогда и в голову не приходило приобщиться к актерскому ремеслу. Впрочем, законы наследственности многообразны, и меня, конечно, они не обошли стороной».

Кира переменяла позу и вытянула затекшие ноги. Телевизор продолжал что-то бубнить, она пустым взглядом скользила по экрану, не всматриваясь, не вдумываясь, а вновь улыбаясь самой себе – юной, семнадцатилетней, незабываемой. Тогда, добрых шестьдесят лет назад, Кира непременно хотела заниматься делом, полезным для людей! Хотя нельзя сказать, чтобы она так уж сильно любила человеческий род или пеклась о счастье Родины, как, например, ее дед. Конечно, она не смогла бы повторить вслед за ним:

Дневник деда

1926 г.

Моя стихия – масса, трудовой рабочий люд. Я растворяюсь в ней, я упиваюсь и с малых лет упивался ею. Мне трудно оторваться от нее, и только среди рабочих тружеников, простых грубых

людей мне хорошо. Еще ребенком я проводил с замиранием сердца часы с дворниками, мастеровыми, рабочими...

Социалистом, коммунистом был всегда, насколько я помню свою первую сознательную мысль.

Не было у Киры ни «тяги к рабочему люду и крестьянам, ни безмерной любви» к людям, ни желания приносить жертву за какие бы то ни было социальные идеи, но искорки романтизма, «тоска по воле и простору» были заронены и в ее душе. Ей мечталось о занятии нужном, полезном, дающем ощутимый для людей результат. И она выбрала для себя путь, для семьи несколько неожиданный, по крайней мере на первый взгляд: геологию.

О науке этой у Киры на момент поступления в университет были самые неопределенные представления. Она знала, что Земля — шар, вращающийся вокруг звезды Солнце и своей оси и напичканный полезными для людей ископаемыми, которые надо разыскать и из глубины земной извлечь на радость и пользу ненасытному человечеству. Для столь благой цели некоторые представители этого самого человечества с рюкзаками за спиной и молотками в руках бродят по лесам, горам и прочим географическим зонам планеты, находят, извлекают, а в часы отдыха рассказываются вокруг костра с гитарами и песнями, никогда не звучащими в официальных радио- или телепередачах. О том, как хмуры и опасны бывают горные тропы, как неприветлива звенящая комариным пискom тундра, о бесконечном бардаке в советской науке и на производстве, об изживших свой век приборах, со старческим харканьем выплевывающих неверные результаты, о насупленных от важности началь-

никах секретных отделов, ревниво ненавидящих понаехавшую из Москвы «науку», о непросыхающих от пьянства шоферах и буровиках, и еще о многом другом в придачу Кира узнает позже. А пока она действовала под влиянием неосознанного, но сильного душевного порыва, почти как когда-то ее дед и его младший брат, порвавшие «с семьей и наследственностью», и ушедшие на поля революционных сражений:

В бреду полудремотном, в тумане, без воли почти, на поводу инстинкта.

Впрочем, сказать, что Кирилл выбор явился чем-то в семейной истории вовсе невиданным, будет преувеличением. «Как странно, – сказала ей мама, несколько разочарованная дочерними предпочтениями. – Я хотела стать геологом, а ты им стала».

В эвакуации, в прожаренном солнцем Ташкенте, будучи подростком, мама, истинная дочь своего отца и племянница своего дядьки – великих романтиков борьбы за счастье Родины – поначалу всей душой рвалась на фронт, мечтая стать разведчицей.

Однако после того, как ход войны переломился, юная патриотка решила выбрать геологию и положить все силы на помощь родной стране. Но осуществиться этому замыслу не дал именно ее дядька, в то время – магаданский сиделец. Это он в своих письмах отговорил племянницу от такого решения, испытав на собственной шкуре, как Отчизна умеет быть благодарной за прекраснодушные порывы.

Девушка послушалась дядиногo совета, оставила помышления о геологической стезе и выбрала филологию, но ее дочь, его внучатая племянница, спустя 40 лет после его пребывания в этом благословенном крае, стояла на берегу бухты Нагаево в брезентовых штанах и с кожаным планшетом на боку, со «взором горящим», устремленным если не «в века», то в свое собственное будущее, рисовавшееся исключительно в виде «чертога златогo», возведенного на фундаменте непреходящих научных достижений и продуваемого нежными ветрами любви и надежды.

Восьмидесятые годы двадцатого столетия перевалили за середину, и стольный город Колымского края несомненно гляделся гораздо веселей, чем во времена пребывания здесь оппозиционера Шульгина. Подрастали новые городские районы, похожие на такие же районы во всех городах необъятной страны, обустроивался пляж на берегу Нагаевской бухты, в продуктовых магазинах продавались ноги и клешни огромных дальневосточных крабов и красная рыба – деликатесы, в те годы даже в Москве доступные лишь баловням судьбы! И все же нет-нет, но неожиданно, из-за поворота, как грабитель на большой дороге выскакивало грозное прошлое этого города.

Несколько главных его улиц, застроенных в неподражаемом стиле сталинского классицизма, носили гордые имена Ленина, Маркса, Горького, но в тылу более или менее благоустроенных домов прятались полусгнившие бараки да развалюхи-балки, скроенные из рубероида и корявых необструганных досок.

Уже четверть века прошло с тех пор, как снесли вышки последних колымских лагерей, мимо Киры вполне свободные люди

вполне добровольно спешили по своим делам, но железная хватка Дальстроя не исчезла вовсе, отчетливо чувствовалась и во властной, недоверчивой повадке пожилого главы Магаданской геологической экспедиции, и в испытующем взгляде начальника секретного отдела. Долго и придирчиво расспрашивали они московских гостей о целях их приезда на чудную планету Колыма, и сквозило в этих расспросах насмешливое пренебрежение к новым, излишне свободным веяниям в молодых ученых мозгах.

Конечно, нигде не было видно и следов лагерных бараков, в одном из которых когда-то сумел выжить Кирилл двоюродный дед. От расправы уголовников его спасла та самая семейная актерская жилка. «Враг народа», бывший физхимик, человек, несомненно, богато одаренный, он умел так здорово, в лицах рассказывать были и байки, что был великодушно помилован своими слушателями в законе. Не довелось Кире увидеть и музыкальный театр, на подмостках которого дедов брат, выйдя на поселение, подвизался в качестве оперного певца.

Но так же, как в те далекие сороковые годы, возвышались над этим городом безлесные сопки, потерявшие свой лиственничный покров в ударные времена зарождения и становления гулаговской империи. Несознательная северная природа такого лихого обращения с собой не простила, за полвека растительность восстановиться так и не смогла, сопки стояли все такие же облысевшие, и все так же грозно звучали названия колымской трассы: Магадан – Оротукан – Сусуман.

Роясь в архивах секретного отдела, Кира своими глазами увидела геологические отчеты конца сороковых годов – времени «дела

геологов». Разразившееся по доносу корреспондентки «Правды», безграмотной истерички, помешанной на бдительности, дело, зародившись в Красноярске, не могло не достигнуть благословенных берегов бухты Нагаева. Сюда их, голубчиков, обвиненных в сокрытии ценнейших сведений о сибирских месторождениях урана, привезли, чтобы они каждой своей жилочкой смогли почувствовать, каково это – обманывать родную Советскую власть, а главное – Великого Вождя. Отчеты были составлены заключенными Шейнманном и Верещагиным, досконально проверены и собственноручно подписаны начальником отряда, капитаном НКВД Лисицыным А.П. Можно только предполагать, сколь глубоки были познания доблестного капитана в геологическом устройстве вверенной ему суровой территории, но его размашистая подпись под фамилиями «диверсантов и вредителей» удостоверяла, что дерзкие враги находятся под надежной, неусыпной охраной и никого урона любимой власти нанести более не посмеют.

Отчеты же этих «врагов» были удивительные. Они читались если не как художественная проза, то как увлекательная научно-популярная литература. Хорошим, доступным языком в них говорилось не только о залегании геологических пластов и возможных рудных образованиях, но скрупулезно, с любовью – об удивительной природе Севера, о жадном, торопливом, ненасытном цветении тундры, едва пригретой первыми весенними лучами, о хитроумных повадках животных и птиц, приспособившихся к невероятным условиям выживания, о черной рыбке Чукотки, зимующей в промерзших до самого дна водоемах.

«И зачем было Сюньке возвращаться в Москву из Магадана? – размышляла Кира под зажигательные вопли какого-то певуна, не-сущиеся из телевизора. – Кто его ждал здесь? Жена вышла за дру-гого, сыну сказали, что отец умер, брат и сестра умерли. Пел бы себе в Магаданской опере или еще чем-нибудь занялся – сколькими талантами обладал человек! Заманил, его, видно, *«золотой чертог»* своей обманной надеждой: начать заново жизнь, быть рядом с род-ными, наладить отношения с повзрослевшим сыном. Но ничего из этого не вышло: сына он смог увидеть разок, издалека, родные – свояченица и племянница – были рады от него избавиться, он уехал в Мичуринск и в конце концов исчез – неизвестно как, неизвестно куда, но – навсегда.

Тем более удивительно, – раздумывала Кира, потягиваясь в глубоком кресле, – что история младшего из четверых детей «Ада-ма» и «Евы» имела необыкновенное, почти мистическое продолже-ние».

В начале 90-х годов, когда страна по имени СССР кипела, бур-лила и рассыпалась на части, а все, кто мог, старался урвать от ее тела кусок послаще, Кира с мамой одним летним погожим днем отправились на собрание своего дачного кооператива. Повестка дня была горячая: новоявленная администрация города, долгие годы мирно расстилавшегося за железной дорогой, решила, что хорошо бы, ввиду новых разнузданных свобод, прибрать к рукам заманчи-вые пространства дачных участков, лесов и деревенских полей. Дачники и деревенские выступили против захватчиков общим фронтом: по очереди влезали на кузов грузовичка, как повелось в

стране последние 70 лет, и оттуда гремели неистовыми речами и потрясали кулаками. Но особенно Киру и мать впечатлила речь одного из выступавших – железно аргументированная и убедительная, как набат. «Кто это?» – спросила мать своего приятеля, стоявшего рядом в толпе слушателей. «Да это мой друг и сослуживец, авиаинженер. Зовут его Владимир, а в дружеском кругу – Волька. Кстати, вы с ним однофамильцы». «Волька Шульгин?» – переспросила мама и призадумалась. Так в детстве звали ее двоюродного брата, сына сгинувшего дядьки Сюньки, того самого мальчика, которому в детстве, из лучших побуждений, ради его же безопасности, сказали, что его отец умер.

Кирина мама еще уточнила кое-какие сведения о Вольке, удостоверилась, что это и в самом деле чудесным образом нашедшийся брат, отправилась к нему и там, не давая ему опомниться, рассказала ему все, что знала о трагической судьбе его отца. Новоявленный родственник был ошеломлен услышанным, хватался за голову, после химиотерапии безволосую, как бильярдный шар, задавал «проверочные, контрольные» вопросы и, наконец, получив не оставляющие сомнений ответы, – поверил. Двоюродные брат и сестра обрели друг друга, и тень исчезнувшего Сюньки будто ожила, воскресла в памяти его племянницы и в обновленном знании его немолодого сына.

Стали общаться семьями, ходили друг к другу в гости, и Кира поражалась неугомонному Волиному характеру. Болезнь, конечно, не сдавалась, но Воля по духу был боец, очевидно, унаследовавший это качество от своих отца и дяди. Уже тяжело больной, *«не в состоянии больше работать»* на своем авиапредприятии, *«бездей-*

ствовать все же не мог». Он выращивал на своей даче невиданные экзотические сорта клубники, писал очерки, составлял словарь русского мата – и все делал азартно, увлекаясь и почти по-детски радуясь своим открытиям.

В последнее лето, которое Воля еще смог провести на даче, он подарил им отросток гортензии. Кира ткнула его в землю, заранее сожалея, что красивое растение не приживется на их тенистом отсосен участке. Но отросток выказал бойцовский характер, быстро разросся и превратился в мощный куст, наперекор скудному солнцу и истощенной песчаной почве ежегодно покрывающийся массивными шапками белых соцветий.

Кира вылезла из кресла и заглянула в соседнюю комнату. Гостя все так же сидела с «архивом» на коленях и листала его. При этом она одобрительно покачивала головой, как человек, который находит знакомые места в давно прочитанной книге. Что-то похожее на благодарность шевельнулось у Киры в груди. В самом деле – сын же, например, до сих пор не проявил никакого внимания к материнской возне с бумагами родных, а совсем посторонняя тетка, можно сказать, к ним так и прикипела. «А что, если это – неподдельный интерес? – умиленно подумала Кира. – У них у всех были такие непростые судьбы, такие страстные надежды, такая мощная работа души. Я должна суметь написать книгу о них – вот моя задача, мой «чертог златой». Охваченная этим порывом, Кира сделала шаг по направлению к госте. Ей хотелось немедленно поделиться с этим пусть чужим человеком радостным предвкушением по-новому осмысленной жизни.

«Надо засесть за книгу. Начать, наконец, давно задуманное, — думала Кира. — Сегодня не получится — сердце уж больно расшалилось, а завтра прямо с утра примусь. Завтра же», — пообещала она сама себе. Но вдруг какой-то внутренний голос так отчетливо, что она вздрогнула, произнес: «Завтра не будет».

Гостья, услышав за спиной Кирины шаги, обернулась, поднялась из кресла, выросла в полный рост и уставилась Кире прямо в глаза холодным немигающим взглядом. И в эту секунду Кира, замерев от ужаса, поняла, *кто* эта гостья и *для чего* она пришла в ее дом. «Все! Конец!» — застучало в голове, и она тихонько заскулила от страха, как животное, попавшее в западню. Стараясь справиться с мелкой отвратительной дрожью, она впиалась взглядом в верхнюю раму окна: за ней тихо, так же, как ее жизнь, гаснул дневной свет, и было горько от того, что ничего уже не успеть, не исправить и не изменить.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

К СВЕТЛЫМ БЕРЕГАМ ВЕРЫ

Бог сотворил нас для Себя,
и дотоле мятется сердце мое,
доколе оно не успокоится в Боге моем.
Блаженный Августин

Гостья высилась перед Кирой, загородив своим тучным телом почти половину оконного проема. В ее светлом, безучастном взгляде не было ни капли надежды на снисхождение или хотя бы на небольшую отсрочку, и Кира почувствовала себя маленькой, жалкой и отчаянно одинокой. «Сыну, сыну позвонить!» – уцепилась она было за соломинку спасительной мысли, но спустя секунду отбросила ее. «Зачем звонить, только зря волновать? Помочь он уже ничем не может», – осознала она с покорностью приговоренного.

За окном солнце играло закатными лучами по легким облачкам на лазурном небосводе, расцвечивая их в золотистые и багряные цвета. Этот великолепный спектакль, каждый день – новый, действовал на Киру умиротворяюще. Она успокоилась, смертная паника улеглась, дрожь в теле прошла, и в глубине ее души, будто огонек свечи во мраке, затеплилась радость. Кира знала эту радость, не однажды спасавшую ее в минуты смятения и беспросветной тоски. Впервые это случилось в далекой молодости, когда она, работая на Севере, заблудилась в штольне.

Теперь Кира, лелея в душе засиявший свет, бесстрашно стояла перед Гостьей, и попрекала себя: «Что это я так струсила? Я ведь ждала *ее*! Особенно с тех пор, как участились эти приступы! Теперь понятно, почему она кивала, когда листала «архив». Она ведь

к каждому из них приходила, знала их всех. Вот и за мной пришла. Ну что ж, видно, пора!» – и, не отрывая глаз от неторопливых разноцветных облаков, смиренно улыбнулась: «Господи, в руки Твои предаю дух мой».

Свою первую встречу с Ним Кира помнила очень хорошо – она нисколько не потускнела от времени, и это воспоминание всю жизнь задевало и беспокоило какую-то потаенную душевную струну.

Они с сестрой росли в здоровой атеистической обстановке. В их семье не было места лампадкам, иконам, а вера в Бога воспринималась как безнадежная замусоренность мозгов. Бог, конечно, упоминался в семейной разговорной речи, чаще всего для усиления раздраженной интонации: «Господи, боже мой, опять ты ошибку сделала в диктанте» или «Прекрати капризы, а то, ей-богу, отшлепаю!». Этим присловьям, дошедшим из темной поры, когда страной правил царь, а люди верили в какого-то бога и ходили в церковь, никакого значения никто, конечно, не придавал. Кира прекрасно знала, что бога придумали в далекие мрачные времена, чтобы богатым было легче эксплуатировать трудящихся, и удивлялась, как это даже Пушкин мог оказаться жертвой этого обмана, когда писал про царевича Елисея, отправляющегося в дорогу, *«помолясь усердно Богу»*.

Ее мама происходила из семьи, совершенно сознательно отрицавшей саму идею Высшего начала. *«В Бога я не верю»*, – писал в своем дневнике ее отец.

Но, как много позже поймет Кира, вера у ее деда, конечно, была! С ранней юности его благородная душа стремилась к горнему идеалу:

Из письма к сестре Кларе

1913 г.

...Тоска, страстное желание чего-либо есть не что иное, как выражение того, что соответствует предназначению нашей души.

Выходец из состоятельной семьи николаевского коммерсанта, дед в начале десятых годов двадцатого века учился в университете в Цюрихе, но видел свое предназначение в области, далекой от занятий наукой:

Дневник деда

1924-26 гг.

До приезда в Россию – эпоха слепого подсознания. Революционный дух, мятущийся под грудами оползней семьи, наследственности, бытовых условий, физической и психической немоции, рвется на поверхность... Я не знаю и не понимаю ни своего пути, ни того, что окружает меня, ни того, что происходит во мне. Но все тот же чудесный, благодатный революционный крик все снова и снова прорывается сквозь дикий, несвязный хор злых и добрых страстей. Ранняя юность с ее тягой к угнетенным, рабочему люду, к крестьянам. Тоска по свободе, воле, простору... Все снова и снова мечты о силе, богатырские взмахи...

Нет жертвы, которую я не принес бы за коммунизм, в борьбе за него.

...Вероятно, я отдал бы все, не колеблясь, за то, чтобы простая трудовая грубая масса верила мне. Я отдал бы ноги, руки, ел бы коренья, испытал бы самые тяжкие муки, и пытки. И мне было бы легко.

В Цюрихе он познакомился с провозвестником своей веры, и эта встреча навсегда определила его судьбу. *Революционный дух* вырвался на поверхность и воплотился в идеях обретенного бога.

В августе четырнадцатого дед Киры вместе с другими российскими подданными был интернирован в Германию. Начавшаяся война и пребывание в лагере окончательно укрепили деда на выбранном им пути.

Из воспоминаний Артемова, члена ВКП(б) с 1917 г.

В Ц.К.К. ВКП (б)

Заявление.

Знаю тов. Шульгина с августа 1914 Года, когда мы были интернированы в лагере Донауэшинген в Германии в качестве гражданских пленных. В первые же дни т. Шульгин стал выступать как большевик и решительный пораженец. В дальнейшем в значительной мере благодаря его инициативе в лагере образовалась группа товарищей с большевистским ядром... Группа проводила агитацию среди заключенных в лагере и соприкасавшихся с нами немецких солдат. ...Все время своего пребывания в Германии (крепость Раштадт, Эбербах), особенно в Эбербахе, после февраль-

ской революции он проводил последовательную большевистскую линию, вплоть до своего отъезда в Россию в 1918 году.

Своему богу дед поклонялся до конца своей жизни, пожалуй, не менее преданно, чем великие христианские подвижники – Спасителю.

Дневник деда.

22 января 1924 г.

Умер... Как тяжело было, как тяжело... Лег, запершись в комнате у себя, и плакал, плакал. Как тяжело. Мелькала мысль о револьвере. Где утешение? Что может утешить? Родной, родной, великий старик. Ты стоил всего человечества, ты стоил бесконечно больше. Все человечество должно было умереть, чтобы ты жил. Но разве Ленин мог умереть? Как мы смеем говорить, что он умер? Рабы, гады мы. Чего мы плачем, жалкие ничтожества? Ведь если Ленин умер, тогда умерло бы все, и от человечества остался бы только смрад и копоть. Ленин не мог умереть. Ленин не умирает. Он жив, как никогда. Это только мы умираем, гаденькие, тицеславные, и нам кажется, что Ленин умер... О, партия моя, чувствуешь?.. Ты ведь трепещешь всеми своими многомиллионными нервами, бьешься своими многомиллионными пульсами... Большевистская партия, ленинская, будь Ленин, плечом к плечу оставайся Лениным... Каждое движение наше, каждая мысль, слово, действие пускай будет полно Лениным – пускай он нас ведет в темноте ли, в ослепительном ли свете, через ад, рай, потоки грязи, муки, виселицы, столетия. Пускай ведет, куда хочет, вечно живой, единый, бесконечно родной, с вечно бьющимся мозгом и сердцем, с

рукой, протянутой туда, вперед, с глазами, улыбающимися великим детским радостным смехом, потому что видят впереди, чего еще не видим мы все. Любимый, любимый, клянусь тебе сегодня, над твоей непонятной, непостижимой могилой, что я буду верен тебе во всем и до моей смерти. Клянусь, клянусь, клянусь.

Похоронный марш, речи. Как пусто в душе. Как тяжело, что я этот вечер не могу провести на рабочем собрании.

23 января 1924 г.

...Я хочу себя всего посвятить одному: сближению с Лениным. Вот уже скоро 12 лет, как я знаю его, как я предан ему: но я знаю его так мало, я ему так мало предан. Узнать его так, чтобы любовь к нему поглотила все, выросла до чудовищных размеров, чтобы он жил во мне вечно живой, мыслящий, действующий, растущий...

Я буду ходить к нему на могилу. Это будет мое единственное место на земле, куда я буду приходить вдохновляться, оживать, подыматься, если я упаду, любить, если возненавижу, освещаться светом, если меня окружит тьма... О Ленин, величайший испокон веков, первый, у кого мысль и слово слились с делом, первый, доказавший, что человек, настоящий человек – велик, и что величие настоящего человека – великая правда.

24-26 января.

Сегодня в семь утра был в Колонном зале. Видел его в гробу. Как живой, только смертельно бледный. Тот же лоб, великий чудный лоб...

Весь дом полон венков, венков, какие еще никогда ни на одну могилу не возлагались. Из самого сердца миллионов. И идешь, идешь в этом ослепительном великолепии огней траура и тихой музыки и проходишь все снова мимо великого ложа, где лег Единственный... Нас миллионы, миллиарды, мы все, а он – один, один на всей земле, один, больше нет. Что же это такое? Для чего же жить тогда, если он был один. Ведь после него ни пред кем уже не преклонишься, ни за кем уже не пойдешь, никому уже не поверишь.

...Только партия, его партия, впитавшая его всеобъемлющую, всемогущую, непреодолимую... волю, его святой гнев против лжи и рабства человеческого, партия, в которой не видно будет ни Каменевых, ни Троцких, ни Зиновьевых, а будет ослепительно гореть лишь один Ленин, только такая партия заменит его собой, и только тогда можно будет сказать: Ленин не умер.

Под такое знамя собирать партию. Ленинская любовь к коммунизму, ленинская правда, ленинская воля..., ленинская ненависть к фразе, к половинчатости, к надутости и чванству, к болтунам и крикунам в партии, его любовь к «слову и делу».

Август 1924 г.

Смерть только в гаденькой, трусливой, вечно дрожащей похоти к жизни и в боязни лишений. Тому, кто слился с великим мировым и вечным <Рабочим> Коллективом, терять ничего не страшно. Всегда во всем устремляйся в одну точку, пока не возьмешь ее целиком, сполна, до конца, или умрешь.

Все есть в этом откровении – и положение во гроб, и невыносимая боль утраты, и растерянность ученика, потерявшего Учителя, не знающего, как жить дальше, и вера в воскресение и бессмертие бога! И залог бессмертия этого бога – не в двенадцати учениках, а в несметном их числе, в партии, которая сдвинула «миллионов плечи, друг к другу прижатые туго» для того, чтобы немедленно «железной рукой загнать человечество в счастье»!

Деду, преданнейшему ученику «великого старика», истовому комиссару гражданской, «стальному цекисту», предстоит еще 12 лет подвижничества на пути своей веры. Его ждут тернии беспощадного перекраивания собственной «интеллигентской» сути, неравная борьба с нарождающейся партократией, шакальным чутьем уловившей возможность поживы, крестная мука смертельной болезни. Но даже обреченный, осознающий близость конца, он ни единым вздохом не предаст своих идеалов и своего бога!

18 февраля 1934 г.

Мне 40 лет. Из них почти 25 лет я в рабочем движении, 20 лет большевик, около 6 лет на низовой партработе на заводе с физическим трудом, но и помимо завода почти всегда на низовой партийной и советской работе, несмотря на высшее образование, без каких бы то ни было следов мыслей о карьере, о личной жизни, личной корысти...

А главное, если б себя хоть немного больше щадил, я не стал бы теперь отвратительным калекой – инвалидом, почти никому уже ненужным... И кто знает, не правда ли то, что мне каркают врачи насчет перерождения моей язвы в рак...

Если бы можно было бы пожертвовать мою жизнь для революции, я с радостью бы ее отдал за дело Коминтерна.

Жалею ли я о том, что я так прожил жизнь? Нет, я ее прожил честно, и жалеть не о чем, разве только о том, что я мог бы больше сделать, больше пользы принести и оставить после себя больший след, чем это будет результатом моей жизни теперь...

К шестидесятым годам двадцатого века, ко временам Кириной начальной школы, конечно, никто и не думал отдавать жизнь за эту веру. Лозунги о счастье трудового народа превратились в звонкое, но пустое бряцание словами, ликующие толпы на демонстрациях, хоругви с портретами вождей у большинства людей не вызывали ничего, кроме скептической усмешки. И все же во многих головах, промытых неутомимой пропагандой, вера в живое и всепобеждающее дело бога, которому так истово поклонялся Кирин дед, сохраняла чистоту и искренность. Кое-кто из Кириных одноклассников, бывало, проговаривался, что у его бабушки висит в комнате икона, чем вызывал у Киры искреннее и глубокое недоумение. «Как может человек, пусть и старый, но ведь все равно живущий в нашей лучшей на свете стране, – поражалась Кира, – так упорно цепляться за нелепые и вредные предрассудки, несовместимые со скорой и бесповоротной победой коммунизма?»

В ее доме, как и во многих тогдашних семьях, библия, конечно, была – увесистый том в твердом желтом переплете, на обложке которого слово «Библия», написанное старинным шрифтом, как бы перечеркивалось торопливой вязью другого слова: «Забавная». Эту популярную у взрослых и детей книгу проходили на уроках вне-

классного чтения в школе. Уроки были чрезвычайно веселые. Учительница, спустив на нос очки, с насмешкой в голосе читала следующие откровения:

«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и дух божий носился над водою. Однако, чтобы не наделать ошибок в работе, богу понадобился свет. Судя по сказанному далее, в предшествовавшие века он сидел в полной темноте. К счастью, он не рисковал обо что-либо стукнуться, ибо вокруг ничего не было. «Да будет свет, – приказал бог. – И стал свет. И увидел бог свет, что он хорош».

В классе хихикали – все представляли старика с белой бородой, который неожиданно для себя чиркнул выключателем и радуется непонятно откуда взявшемуся освещению.

Чтение продолжалось:

«И назвал бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел бог, что это хорошо».

Школяров, в том числе и Киру, сотрясал хохот. Они-то все отлично знали, что никакого бога нет, и никак не могли понять одного: как это в их время непрерывных социалистических побед находятся темные люди, всерьез относящиеся к подобной ахинее!

Напичканная подобными «знаниями» Священного Писания, Кира закончила второй класс. Наступило лето, и родители взяли ее с собой в путешествие по Закарпатыю.

Многое в Кириной жизни тогда произошло впервые: бешеная поездка на такси из одного московского аэропорта в другой – отец перепутал названия аэропортов, первый отчаянный испуг от боязни

потеряться в сутолоке аэровокзала, отстать от родителей, со всей мочи бегущих к самолету, первый полет и непрекращающаяся тошнота, слегка притупляемая спасительными леденцами. Наконец она с мамой и папой оказалась в красивом городе Львове, совсем не похожем на привычную Москву.

Гуляя по улицам города, московские гости набрали на необычное, устремленное ввысь каменное здание, которое папа назвал незнакомым Кире словом «собор». Кира до этого церковные здания под круглыми золотыми куполами с крестами наверху видела лишь на экскурсии в Кремль, но, конечно, никогда в них не заходила. Сейчас она, вслед за родителями, прошла под своды львовского собора. Снаружи остался шумный веселый ласковый летний день, а здесь было странно тихо и чем-то непривычно пахло. Кира посмотрела в глубину полутемного пространства, освещаемого лишь огоньками свечек, и замерла от ужаса: там, на высоком столбе с поперечной перекладиной висел человек! По его страдальческому лицу из-под колючего венка на впалые щеки стекали струйки крови, кисти рук и ступни были пробиты гвоздями, страшные раны кровоточили, и вся эта скульптура в человеческий рост была выполнена с таким мастерством и натурализмом, что у Киры занялся дух. «Что это?» – пролепетала она. «Это распятие», – деловито ответил папа, и они втроем вышли из храма – на светлую, залитую солнцем улицу, полную гомона нарядной толпы. Но Кира все продолжала думать о страдальце, что остался в глубине прохладного, плохо освещенного здания, и о той давнишней, неведомой и страшной трагедии, что привела этого человека к ужасной смерти.

А папа тем временем рассказывал Кире следующую историю: «В одной южной стране, в деревне, много-много лет назад у молодой женщины по имени Мария родился мальчик. Его назвали Иисус. Когда он вырос, он стал ходить от селения к селению и учить людей быть добрыми, честными, любить друг друга. Но эта проповедь не понравилась правителям той страны («А что тут может не нравиться? Все же правильно», – подумала Кира), и его схватили и распяли на кресте. Была в те времена такая казнь. А через много лет, – продолжал папа, – его объявили богом, стали строить в честь него храмы и устанавливать в них такие вот изображения – распятия». «Непонятно, – думала Кира, слушая папу и подмечая то скептическое выражение, с которым он все это рассказывал, – как это люди могли так обманываться, всерьез верить таким сказкам?»»

Однако «сказка» отчего-то запомнилась, и изображение страдальца, замученного на кресте неизвестно за что, никак не шло из головы.

Путешествие по Закарпатья продолжалось. Кира вслед за родителями карабкалась по отлогим склонам гор, поросших лесом, умывалась ледяной водой веселых немолчных водопадов, перемазавшись соком, упивалась лесной, крупной, необыкновенно сладкой малиной. Ночевать останавливались в деревнях, утопающих в обильных садах и цветах, спали под мягкими, почти невесомыми перинами. И почти в каждой белой, чистой, пригожей мазанке она видела над кроватью распятие, пусть небольшое и не такое страшное, как в том Львовском соборе, но присутствующее в жизни этого края постоянно. Кира, столичная просвещенная девочка, истый ок-

тябренок и в ближайшем будущем – пионерка, пыталась хихикать над темными отсталыми деревенскими жителями. Ей казалось, что надо этим людям раскрыть глаза, сказать им, что они верят в небылицы, а верить надо в скорейшую победу коммунизма и в наше светлое будущее. Однако папа на корню пресек эти Кирины попытки. «Никогда не смейся над чужой верой», – неожиданно строго и серьезно сказал он. Потом помолчал и произнес непонятное: «Вырастешь – тогда сама решишь»... А что надо будет решить – не сказал.

Разве могла Кира в то время знать, что ее папа происходит из семьи правоверных иудеев? Что имена Авраама, Исаака, Иакова, Рахили, Иосифа знакомы ему с детства? Что с самых ранних лет в своем еврейско-молдавском селе под Кишиневом он рос в атмосфере причудливого смешения иудейских и христианских праздников? Что в подростковом возрасте, в Бухарестском лицее он был лучшим учеником на уроках Закона Божьего, любимцем добрейшего отца Амврозие, которого будет тепло вспоминать до конца своих дней? Кира и слыхом не слыхивала такие слова и имена и уж никак не могла предположить, что у ее отца есть серьезные, даже грозные вопросы к Всевышнему, на которые он за всю свою жизнь так и не получил ответа.

Первый вопрос встал перед ним, когда он еще совсем мальчишкой посещал хедер в родном селе. Примерный ученик должен быть выучить наизусть 22 главу Книги Бытия – о готовности праотца Авраама принести в жертву своего единственного, долгожданного, вымоленного сына Исаака. Но ни выучить, ни объяснить толком причину своего отказа строгому Адойни амойрэ – господину учи-

телю – мальчик не смог. Ему просто стало невыносимо жаль бедного юного Исаака, его хрупкой мальчишеской шеи, над которой отец уже было занес нож. Грозный Бог, повелевающий отцу принести своего ребенка в жертву, отец, слепо подчиняющийся приказам Адоная, – все казалось бесчеловечным, вызывало отторжение и протест. «Почему невинный мальчик должен был терпеть такую смертную муку, переживать весь этот ужас из-за того, что Бог решил испытать его отца?» – терзался вопросом малолетний богоборец. Естественно, протест повлек за собой суровое наказание, и протестующий был поставлен на колени на твердые кукурузные зерна в углу класса, заработал рубцы на коленях, немилость Адойни амойрэ и скандал дома, но мучительный вопрос так и остался без ответа.

Прошло несколько лет, и тринадцатилетнего талантливого паренька из молдавской провинции родители отправили учиться в лицей, в столицу – Бухарест. Здесь во второй раз его детская вера подверглась суровому испытанию и не выдержала – обрушилась в одночасье: в канун великого праздника Йом-Кипур в бухарестской синагоге произошла страшная трагедия – молящиеся подавили друг друга.

В синагоге набилось в тот год поболее трехсот молебицков. Особенно много женщин толпилось на балконе... И канторский дискант с трудом продирался сквозь густой, душный, набрякший покаянием воздух. Включили вентилятор. Но тут стал гаснуть свет...

Вдруг под самым потолком раздался звук, похожий на хлопок мальчишеского пугача. Сверкнуло что-то, и в следующие мгновение, разрезав молитвенный гул, взвилось погибельное «Горим».

Позднее газетчики дознались, что это была домохозяйка с Гривицы.

...Голоса понеслись под сводами мрака: «Спасите!» «Горим!» Волна тел качнулась в направлении лестницы... Тут послышался треск, и балюстрада, не выдержав напора, рухнула, а с ней – и первые тела. Водопадом последовали другие. Еще. И еще... Поток смешавшихся тел вышиб дверь, людское месиво выхлестнуло в проулок под скрежет и лязг разбиваемого стекла. ...Из чрева молебных выплескивались все новые волны, оставляя позади тела задавленных... Один лишь канторский дискант по-прежнему взыскал к Адонаю, моля об обещанном милосердном суде. «Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не забудет тебя...»¹

Подростку, который годы спустя станет отцом Киры, чудом удалось спастись, вынырнуть из гущи обезумевших, увернуться от каблуков единоверцев. Он продолжал готовиться к Бар-Мицве, правда, самостоятельно – ходить к наставнику в ту синагогу он уже не мог. Но не это было главное. Он отчаянно старался сберечь в себе свою детскую силу упования на Него, но Гласа Божьего в себе уже не слышал. Будто Иов, не выдержавший испытания, он роптал: «Не заступился, не поручился Сам за меня пред Собою!», но ответом ему было молчание.

¹ Михаил Фридман. «Книга Иосифа», роман. – М., «Круг-престиж», – 2005.

Тем временем по Бухаресту поползли, наливаясь грозной силой, зеленые гусеницы «Железной Гвардии». Одноклассники-лицеисты, младшие братья «легионеров», желторотые «патриции», принялись с удвоенной силой издеваться над «христопродавцем» из молдавского села. «Где же Ты? Почему дозволяешь? Я люблю людей, никому не делаю зла – за что я должен это терпеть?» – всеми своими внутренностями вопил наказуемый, но отклика не слышал. Зато миллионы ликующих сердец в те дни восторженно откликались на призывные вопли лающего немецкого голоса, несущегося из репродукторов и радиоприемников, а кое-кто из бухарестских интеллектуалов таял от священного трепета и умиления перед новым божком.

Неотвратимо наступил сентябрь 1939 года, и божок перешел от слов к решительным действиям. Спустя примерно год Бессарабия стала не румынской, а советской землей, была присоединена к огромному, непонятному и опасному соседу на востоке. Молдавский *«пархатый коммуняка»* уехал домой, в свою по-сталински социалистическую страну. Здесь, среди милых сердцу молдавских садов и виноградников, он проведет еще год, а потом, оставив отца, мать, сестричку и братика, отправится по фронтовым дорогам своей новой родины. Родных он больше никогда не увидит. «Ну и где же добренький боженька?» – с горькой насмешкой и болью будет он повторять, потеряв их всех, бесследно сгинувших в Кишиневском гетто.

«Где же Ты? Где же Твое милосердие, как дозволяешь такое?» – вновь и вновь, как когда-то, в далеком бухарестском лицее, возопит он к Небесам, видя страдания, кровь, разрушения, подлость, воров-

скую повадку швали, разъевшейся за спинами фронтовиков на хозяйственных, безопасных и сытых должностниках.

Но Тот, к Кому он обращался, казалось, недоступный и равнодушный, не удостоивал ответом.

«Сказочки», – усмехался отец на старости лет, листая знакомые ему с детства страницы Библии. К этому времени ему с матерью была уготована страшнейшая из потерь – смерть дочери, и горький упрек Молчащему, не Спасшему, не Оградившему от бед звенел в отцовской усмешке. Но говорила ли эта усмешка о полном отвержении Бога или была лишь небольшой извилиной упрямой реки отцовского богоискательства – было непонятно. Раз за разом он упорно возвращался к чтению «сказочек», все искал и не мог найти внутренних связей между суровым, яростным ветхозаветным Отцом и кротким, любящим, милосердным Сыном. «Как получилось, – иногда в изумлении спрашивал он вслух сам себя, – как вышло, что обе мои дочери – христианки?»

Долгие годы после ухода отца Кира размышляла над этими словами. «Как получилось, папа? – старалась она, пусть с безнадежным опозданием, ответить отцу. – Видно, семена, зароненные в твоём детстве, на иудейских и христианских праздниках, на уроках добрейшего отца Амвросие, не пропали даром. Сын ведь присутствовал в твоей жизни постоянно, с детства ты напряженно старался в своей душе и сознании примирить Его и Отца, найти неуловимые тобой взаимосвязи. Непроста ты проводил параллели между собой и Иосифом Аримафейским, приверженцем Христа, но «тайным, из страха перед иудеями»². Ты не нашел в Нем поручи-

²Ин, 19:37.

тельства, ты не услышал Его ответов на твои вопросы, но все же те семена упали не при дороге, где их склевали бы птицы, не в терние, которое заглушило бы несмелые всходы, — они упали на добрую, подготовленную тобой, пусть бессознательно, почву — и проросли!»

Но прорастали те семена медленно, с трудом пробиваясь сквозь окаменевшую почву страны победившего безбожия.

Кире было 15 лет, когда Евангелие впервые попало ей в руки. Ее старший приятель протянул ей эту потрепанную, в рваной сизой обложке книгу. Кира была плотью от плоти московской интеллигентской «оттепельной» среды, где на советскую, уже заметно ветшающую власть и ее демагогическую идеологию смотрели со скептической насмешкой, ни во что не ставили бровастого кесаря и толстомордых прокураторов его бескрайней империи, занимающей одну шестую часть суши. В этой среде читали напечатанные самиздатом «Доктор Живаго» и «Архипелаг ГУЛАГ», сочувствовали Синявскому и Даниэлю, пели баллады Галича, путешествовали по старинным, лежащим во прахе, русским городам, по руинам церквей и монастырей, загорались праведным гневом при виде «бессмысленно и беспощадно» разрушенных, поруганных святынь.

Но главное, что испытывала Кира в этих поездках, была угнетающая тоска, которую у нее вызывала вязкая тягучесть провинциальной русской жизни. Нищие и калеки перед воротами Троице-Сергиевой Лавры, баба в грязных лохмотьях, заливающая святой водой гноящуюся язву на руке, люди в черных рясах со строгими не улыбочивыми лицами казались Кире отголоском какой-то другой, незнакомой России, против которой так неистово боролся ее дед.

Кира, конечно, помнила «сказку» о распятом в древности человеке, рассматривала многочисленные распятия, печальную молодую женщину с младенцем на руках, лики святых на облупленных фресках и иконах, с искренним интересом слушала рассказы просвещенных экскурсоводов об особенностях аркатурных поясов и закомар, следовала наставлению папы «никогда не смеяться над чужой верой» и всей душой ощущала, как чужда ей и эта вера, и эта другая Россия, которая должна была кончиться в 1917 году, но почему-то все не кончалась, все еще дышала и шевелилась. Самым замечательным в этих путешествиях было то, что через несколько часов можно будет покинуть этот умирающий мир и вновь оказаться в родной, многолюдной московской цивилизации.

В тот вечер, когда ее знакомый протянул ей Евангелие – книгу тогда практически запрещенную, – она восприняла это как форму интеллигентского протеста, вроде чтения Солженицына или песен Галича. Кира начала пробираться по пожелтевшим зачитанным страницам и, как жители древней Иудеи за 2000 лет до нее, дивилась «учению Его»³. То, что она читала, вызывало у нее полнейшее недоумение. «Как это понять – «Блаженны нищие духом»?⁴ Что это значит: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую»?⁵ Как можно молиться за врагов своих?» – поражалась Кира, до сих пор не сомневавшаяся, что «добро должно быть с кулаками»⁶, что «жалость унижает человека»⁷, и что умение дать сда-

³ Мф, 7-28

⁴ Мф, 5-3

⁵ Мф 5-39

⁶ М. Светлов

⁷ М. Горький, «На дне»

чи — одно из лучших человеческих свойств. Слово, открывшееся перед ней, опрокидывало все привычные представления, вызывало сплошные вопросы и желание спорить, и уж конечно Кира никак не могла предположить, что, читая Книгу и запинаясь на каждом стихе, уже «уловлена в сети», как многие из тех, что «дивились учению Его» в течение 20 прошедших веков. Прочтенное она схоронила в отдаленном уголке памяти, как прячут в потайном ларце драгоценную жемчужину, и много лет не открывала этот ларец, не ощущая в нем никакой надобности. Она продолжала с уважением и отчасти с растущим интересом относиться к вере, даже иногда заходила в редкие действующие церкви, но все это существовало где-то на отдаленной орбите ее сознания и, казалось, никакого отношения к ее жизни — с волнениями, экзаменами, постижениями азов науки, размышлениями о карьере, влюбленностями и разочарованиями — не имело.

Приятеля, что дал ей Евангелие, Кира встретила спустя долгих четыре года и удивилась произошедшей с ним перемене. К этому времени он успел отслужить в армии, куда был отправлен после исключения из института за непокорный нрав и открытое диссидентство. На перевоспитание он попал в стройбат, в какой-то отдаленный край нашей необъятной Родины. Судя по редким письмам, которые доходили до его друзей, в сем благословенном месте не существовало никаких законов, кроме одного — главного закона все еще живого ГУЛАГа: «Умри ты сегодня, а я — завтра».

«Трудно тебе пришлось? Страшно было? — участливо спросила Кира при встрече. Она была счастливой первокурсницей, жизнь только начиналась и играла всеми красками, а самым большим

испытанием того периода были вступительные экзамены в Университет.

Четыре года назад она знала своего друга бесшабашным насмешником, городским гулякой-пижоном. Теперь веселость его сильно поубавилась, и Кира поначалу было решила, что это результат армейской воспитательной работы. Она ожидала услышать рассказ о «развеселой» службе в стройбате с дедовщиной, одобряемой начальством, с бесконечными нарядами вне очереди, с унижениями, мордобоем и постоянным недоеданием. Однако ответ друга Киру не на шутку удивил. «Ничего не страшно, когда Он с тобой!» – сказал он и, чуть вскинув голову, мгновенным движением глаз указал на небо. Сказано это было без всякой рисовки, спокойным, уверенным тоном человека, прикоснувшегося к Истине.

Кира сделала вежливое лицо, понимая кивнула, но душой такой ответ не приняла. Чтобы понять и принять его, Кире потребуются годы.

Впервые это случится десять лет спустя. В тот день в составе геологического отряда она работала на месторождении, в подземной выработке. Работа заканчивалась, Кира слышала, как начальник отряда крикнул: «Уходим», но замешкалась – никак не могла отобрать нужный образец. Она стучала молотком, даже пробовала расшатать интересный кусок руками, но тот сидел, как припаянный, и не откалывался. Кира злилась, чертыхалась, и, наконец, кусок, блеснув кварцевым боком, упал к ее ногам. Она подняла его, аккуратно спрятала в матерчатый мешочек, сделала пометку в записной книжке и тут обнаружила, что осталась одна. Кира двинулась по темной неосвещенной выработке, которую сочла основным

квершлагом, ведущим к выходу из штольни. Она знала, что метров через 10-15 на стенах выработки должны появиться лампы, освещающие путь, но их все не было. Она уже начала понимать, что спутала выработки, и надо бы вернуться назад и сориентироваться, но вместо этого почему-то свернула в боковой штрек, потом – в другой и пошла наугад, уже совсем плохо соображая. Лампа у нее на каске светила тускло, батарея садилась. Это была явно заброшенная, отработанная выработка, иней на ее стенах таинственно мерцал в свете Кириной лампы, но ей было не до любования волшебным искусством вечной мерзлоты. Волнение ее нарастало, и когда она уперлась в тупик забоя, перешло в настоящую панику. Пытаясь продлить жизнь своей лампе, она выключила ее и оказалась в такой непроглядной, абсолютной темноте, какой не бывает на поверхности земли даже в самую черную, безлунную ночь. Похолодев от страха, она вновь включила лампу, посветила наверх и с ужасом обнаружила свисающий над ее головой закол – покрытую трещинами глыбу породы, готовую вот-вот обвалиться. В неверном свете лампы Кире, окончательно потерявшей над собой контроль, стало казаться, что глыба шевелится, угрожающе сползает вниз и вот-вот либо перекроет ей выход, либо просто похоронит ее под собой. Неделию назад в одной из этих выработок под такой обвал попали два горняка. Ребята из их отряда помогали разбирать обрушение, доставать тела погибших, потом молча, не поднимая глаз, сидели в вахтерке, пили спирт, пытались справиться с увиденным...

Конечно, Кире в конце концов найдут, живую или мертвую, но это соображение сейчас мало ее утешало. Она стояла у забоя в пол-

ном одиночестве в этом обледенелом, глухом, как могила, пространстве и боялась пошевелиться. «Господи, спаси, помоги!» – вдруг умоляюще прошептала она. Это мгновение она запомнит навсегда. Никогда прежде такие слова не приходили ей в голову, никогда она не обращалась к Нему и не ощущала Его присутствия в своей жизни. А сейчас, когда это восклицание непроизвольно вырвалось из каких-то глубин ее естества, в ней всколыхнулось удивительное чувство, что она – не одна, что ее слышит Тот, кто непременно поможет. В следующую минуту душа ее успокоилась, паника улеглась, и в просветлевшей голове мелькнуло: «Не бойся, иди!» Лелея эту радость как великое открытие, очень осторожно, но уже без страха Кира пробралась под заколом, потом уверенно двинулась в обратный путь. Вот то место, где она боролась с упрямым образцом, вот под стенкой – небольшая кучка осыпавшейся породы от ударов ее молотка. Кира на минуту остановилась, посветила вокруг совсем уже слабой лампой, увидела вход в нужный квершлаг и нырнула туда.

Она шла и ругала себя: «Надо же, дурища, спутать выработки, сбиться с пути, когда все проще простого. Никому не скажу – засмеют!» Через определенное расстояние началась освещенная фонарями крепь, Кира выключила свою лампу и, наконец, вышла к уклону – нескончаемой двухсотметровой лестнице, ведущей на поверхность. У подножия лестницы ее ждали и начальник отряда, и мастер смены, и даже старший геолог подземки. Они пребывали в явной тревоге и, очевидно, уже собирались отправляться на поиски. «Где ты ходишь?» – накинулся на нее руководитель. Кира что-то невнятно пробормотала, показала на отобранные образцы, жалобно

вздохнула, мол, не ругайтесь, заработалась. О своей нелепой ошибке, о неумении сориентироваться говорить было стыдно, а о том светлом, удивительном чувстве НЕОДИНОЧЕСТВА, спасшем ее в минуту крайнего отчаяния, когда она позорно раскисла и утратила способность соображать, рассказывать было ни к чему – еще решат, что она сбрендила со страху. Она сложила это чувство в тот же драгоценный ларец в тайнике своей души и пошла наверх по бесконечной лестнице к дневному свету.

Жизнь покатилась дальше и докатилась, наконец, до середины девяностых годов, когда вся страна понеслась в неизвестном направлении, закусив удила, как птица-тройка. Работа, заботы о доме и деньгах, личные проблемы требовали сил и внимания, казались первостепенно важными, пока однажды ей дано было понять всю ничтожность этой суеты.

В тот тихий летний вечер Кира неспешно собиралась к родителям на дачу. Вдруг в квартире требовательно зазвонил телефон. Она схватила трубку и услышала голос сестры – впервые за полгода, прошедшие с тех пор, как та с мужем и маленьким сыном уехала в Германию. В начале девяностых годов, на разъезжающемся по швам постсоветском пространстве художники стали никому не нужны, не было ни работы, ни надежды ее получить, а Германия оказалась приветливой, удобной для жизни страной, охотно предоставляла мастерскую и выставочные залы в старинном барочном дворце.

Сестра писала восторженные письма родителям об успехах сына, о многочисленных выставках, о неподдельном интересе к ее

творчеству, который проявляли новые немецкие друзья. Казалось, после маеты и уныния последних лет она, наконец, вытянула счастливый билет. Нисколько в этом не сомневаясь, вся – во власти сестринских романтических посланий, Кира прижала трубку покрепче к уху, чтобы не пропустить ни слова, не ведая, что прежней жизни ей остается всего несколько секунд.

Она радостно крикнула в трубку: «Как у тебя дела?» – «У меня?» – переспросила сестра и отчего-то замялась. Еще секунды две-три Кира размышляла над этой странной паузой. В голове мелькали предположения о самых больших, по мнению все еще беспечной Киры, неприятностях, которые могли произойти: может быть, сестра поссорилась с мужем? Может быть, сын стал плохо учиться? А сестра спокойным голосом, будто речь шла о насморке, сообщила, что неизлечимо больна.

О чем они потом говорили – Кира помнила смутно. Она села на пол и малодушно заревела, слушая успокаивающий голос сестры – про удачно проведенную операцию, про лечебные процедуры высшего немецкого качества, которые, конечно, дадут отсрочку на многие годы, и, стало быть, не надо ничего пока говорить отцу и матери.

Разговор закончили, в трубке раздались короткие гудки. Кира осталась сидеть на полу в тишине пустой квартиры, не имея сил пошевелиться, одна на всем белом свете со своей неожиданной бедой. Сколько времени она просидела так, глядя перед собой неподвижным, невидящим взглядом, она не знала. Сумерки становились все гуще, тишина – все глубже. Когда-то, несколько лет назад, в редком приливе сестринской нежности сестра сказала Кире: «Как все-таки

хорошо, что нас – двое». Тогда Кира лишь одобрительно кивнула в ответ – сентиментальность сестрам была чужда, а эта *двойственность* была для Киры непреложной нормой жизни, вроде наличия двух рук или двух ног. И вот теперь, сосредоточившись и даже стараясь не дышать, она искала опору, чтобы вынырнуть на поверхность из омута отчаяния. Постепенно, медленно, как проглядывает синий просвет на хмуром небе, ей открывалось прозрение, что эта жизнь, в которой их *было двое*, была Его подарком, и лишь в Нем надо теперь искать утешение и упование на дарование сил...

Сестре же это прозрение дано было еще раньше. «Знаешь, – сказала она Кире в очередном разговоре, – когда я очнулась после операции, я просто расхохоталась. Я всегда считала себя сильным человеком, который все держит в своих руках и сам управляет своей жизнью. И вот мне было показано со всей очевидностью, в Чьих руках *на самом деле* (она усилила, подчеркнула голосом и интонацией это «*на самом деле*») находится моя жизнь!»

Она шла к вере так же, как и Кира, медленно, будто осторожно приоткрывая дверь в неведомое. В ранней юности ей иногда приходило в голову выстоять до конца пасхальную всенощную, иногда – соблюсти Великий пост, но до поры до времени это было, как и у Киры, скорее формой некоего юношеского протеста, желанием противопоставить себя господствующей, вконец изолгавшейся идеологии. «С другой стороны, – думала, уже повзрослев, об этих годах Кира, – то, что нам тогда казалось полудетской фрондой, возможно, было Его первыми призывами, уловлением в Его сети?»

Свой творческий путь сестра начинала как тонкий, вдохновенный иллюстратор детских книг, но вдруг внезапно, будто голос свыше, открыла для себя Библию.

«Не могу объяснить, почему все, выходящее из-под моей руки, с недавнего – или давнего – времени попадает в стилистическое поле Библии... – писала она. – Вот и персонажи моих детских иллюстраций – ежи и зайцы – были недавно определены одним искусствоведам как «библейские»...

Я почти не позволяю себе думать о том, что это уже призвание – слышать голос Книги».

Этот новый период ее творчества был похож на озарение, доступное лишь избранным.

Отныне любой, даже самый безыскусный материал, который попадал ей в руки, – обрезки холста, необструганные деревянные доски, стекло, макулатура – озарялся светом неустанного духовного поиска, становился средством проникновения в сокровенный смысл притч Священного Писания, попыткой найти «в библейских темах и сюжетах пророчество и послание нам сегодняшним».

Лидия Шульгина. Из письма.

Я просто читаю Книгу, и сегодняшние события кажутся мне ее продолжением. И окружающее нас наполняется смыслом библейских катастроф. Я хочу найти пластическую форму, достойную этой темы. Может быть, обрезки холста и старые доски способны связать мусор нашего времени с праматериалом

библейских времен... Возможно, мои холсты станут отражением человеческих страданий, причина которых в постоянном нашем сопротивлении заветам.

Работы последнего периода ее жизни – скульптуры, сделанные из газетной бумаги, смоченной белилами, почти невесомые – Кира воспринимала как воплощение беспрестанной, обращенной к Нему молитвы. Сестре будет подарено, к удивлению выдавших виды врачей, еще четыре с половиной года жизни, которую она проведет, разрываясь *«между желанием – лепить скульптуры, делать рельефы, раскрашивать стекла, иллюстрировать Евангелие и читать...»*

Глядя на эти белые, необыкновенно выразительные скульптуры, вдохновленные Им, Его победой над страданиями и смертью, Кира подсознательно следовала этой молитве, стремясь хоть малой толикой облегчить сестре тяжесть ее *«короткого перехода из света в тень»*. Наконец, она решилась сделать шаг, который до тех пор считала для себя необязательным. «Важна вера, любовь к Богу, – рассуждала она до поры до времени, – а без всех этих церковных таинств можно обойтись». Но пришел час, когда она поняла ребячливую несерьезность этого мудрствования и крестилась – в старинной красивой церкви, сумевшей выстоять против посягательств советской власти даже в самые глухие времена. «Как мне теперь хорошо стало», – сказала ей на это сестра, и у Киры сделалось так тепло на душе, будто ей и впрямь удалось подставить плечо родному человеку, из последних сил несущему свой крест.

Последний раз они с сестрой виделись в Германии, куда Кира приехала на недельку погостить. Стоял прекрасный, нежаркий август – последний август двадцатого века. Казалось, надеяться есть на что – сестра хорошо выглядела, была бодра, они втроем с ее сынишкой ездили по знакомым, гуляли по старинным немецким городкам, будто сошедшим с иллюстраций к сказкам братьев Гримм, присаживались отдохнуть в уютных кафешках, ходили на концерты. Киру поражало спокойствие сестры, обычные житейские проблемы, по мнению Киры – важные, ее нисколько не беспокоили. «Я стала такой фаталисткой», – повторяла сестра, и Кира думала, что она просто бережет оставшиеся немногие силы, не растрачивая их на пустяшные, бессмысленные волнения. Сестра уйдет через четыре месяца, и только через три года после ее ухода Кире откроется подлинный смысл этого признания.

На полке в изголовье Кириной постели стоял бумажный образок с ликом Спасителя, который она приобрела при крещении. Все годы болезни сестры она молилась на этот образок, и ей порой казалось, что молитвы ее услышаны – лечение начинало давать результаты, состояние сестры стабилизировалось, болезнь как будто и впрямь отступала. Однако эти периоды оказались лишь временной отсрочкой, и наконец всякие надежды рухнули. Жизнь, в которой их *было двое*, оборвалась, и Кира понуро побрела дальше. Образок она поставила вглубь книжной полки и года три, думая о судьбе сестры, лишь скользила по нему обиженным взглядом обманутого человека.

Полная ропота и сомнений, Кира чувствовала, как вера ее иссякает, будто озерцо под лучами беспощадного солнца. «Где же Твое милосердие, как дозволяешь такое?» – невольно повторяла она слова отца. Порой ей казалось, что Небеса равнодушны, а может, и вообще пусты, страдания и духовный взлет сестры – тщетны, а человеческая жизнь – бессмысленна. Окончательно поддавшись унынию, Кира пыталась достать из глубины души свой спасительный тайный ларец и вновь возродить в себе молитву и упование, но чаще всего – безуспешно.

Однажды ее повзрослевший сын отправился с друзьями на рок-фестиваль. Он вскользь назвал место его проведения – где-то в отдаленном районе города, она краем уха услышала и, закрыв за ним дверь, принялась за домашние дела. Прошло часа три. Кира стряпала обед, радио пело развеселые песни и деловито сообщало новости. Кира почти не вслушивалась в эти эфирные голоса, просто с ними было веселее возиться на кухне. «Взрыв на рок-фестивале», – вдруг объявило радио. Новость сначала затронула Кирина слух по касательной, она не сразу осознала ее смысл. Через несколько секунд ее бросило в жар, и она заметалась по квартире, как зверь по клетке, от радиоприемника к телевизору, лихорадочно щелкая переключателем в попытке найти новостные программы. Но радио деловито вещало о погоде и политике, а в телевизоре кто-то пел, кто-то танцевал, и все это было сейчас для нее так ненужно и дико, что хотелось вмазать кулаком по ненавистному, равнодушному экрану. Дрожащими руками Кира набрала мобильный номер сына, и бесстрастный автоматический голос ей сообщил, что «аппарат абонента выключен». Между тем радио, наконец, словно одумав-

шись, переключилось на страшную новость и торопливо докладывало о подробностях: террористки-смертницы, погибшие, раненые... По-детски надеясь на чудо, Кира еще раз попыталась позвонить по мобильному – безрезультатно. Как помешанная, она высовывалась в окно и перегибалась через перила балкона, будто старалась увидеть то, что произошло на другом конце Москвы. Потом буйство сменилось апатией, навалилось бесконечное, никогда еще не испытанное ею одиночество, она легла на диван, свернулась калачиком и бессильно затихла. Летний день за окном, казалось, померк, звуки улицы не доносились до ее слуха, несмотря на открытые окна.

Она достала из глубины полки бумажный образок с ликом Спасителя, приладила его перед глазами и, не разжимая губ, взмолилась: *«Если возможно, да минует меня чаша сия»*⁸.

Будто ответом на это ей привиделась одна из последних работ сестры – скульптура коленопреклоненного Спасителя, в одиночестве и скорби вызывающего к Отцу в Гефсиманском саду. Она вспомнила слова сестры о ее «фатализме» и только в эту минуту, наконец, поняла, что это был не «фатализм» и не сбережение сил, а выстраданное, принятое каждой частицей души СМИРЕНИЕ – величайшая из человеческих способностей бесконечно доверять Богу и ни при каких обстоятельствах не поддаваться безумию саморазрушения. *«Впрочем, не как я хочу, а как Ты»*, – обреченно прошептала Кира, глядя на образок сухими, остановившимися глазами и стараясь всей душой, натянутой до предела, как струна, взрастить в себе это трудное, непонятное чувство. И струна вдруг ослабла,

⁸ Мф., 25,39

волнение, разъедающее внутренности, улеглось, и в это мгновение она не то чтобы разумом поняла, а всем своим смятенным нутром почувствовала, что *ЧАША* пронесена мимо.

Прошло еще некоторое время, и зазвонил телефон. Она кинулась к нему, но – уже спокойная, уже утешенная. Самым любимым и родным голосом на свете трубка сказала: «Я еду домой», – и Кира ответила весело, как ни в чем ни бывало: «Отлично! Жду!» Радость, хранимая ею в потайном уголке души, хлынула на поверхность и затопила сознание сверкающим потоком, переполнив Киру упоительным, никогда раньше ею не испытанным ощущением возрождения жизни. Звуки улицы, телевизора и радио вместе с солнцем и счастьем ворвались в комнату. Сейчас она любила и эти деловито снующие под окнами машины, и чирикающих детишек в садике напротив, и этого милого певуна, приплясывающего на телеэкране, и славную барышню, рассуждающую по радио об угрозе терактов. Но больше всего она любила Его, она скакала по комнате, натываясь на мебель, и прижимала к груди образок. «Вот рука Твоя, вот спасение Твое», – бормотала она, пораженная собственным открытием.

Всю последующую жизнь в самые тяжелые минуты Кира будет стараться вновь и вновь возродить в себе это ни с чем не сравнимое чувство.

Кира еще раз глянула в небосвод, теперь уже золотой в лучах заходящего солнца. Над горизонтом вздымалось величественное облако, причудливыми очертаниями напоминающее раскинувшийся между холмов и долин город.

Она вдруг вспомнила, как отец, незадолго до кончины, в очередной раз погрузившись в Священное Писание, спросил, обращаясь то ли к ней, то ли к самому себе: «Интересно, как все они жили *потом*? Все они – исцеленные, воскрешенные, спасенные Им? Что с ними со всеми *далее* было?»

Тогда Кира пожала плечами, не зная, что ответить, но вопрос не забыла, хранила его в глубинах памяти, неосознанно искала ответ, и вот сейчас вдруг, спустя десятилетия, принялась с удвоенной силой об этом размышлять.

Почему этот вопрос пришел отцу в голову? Кира много раз думала об этом и, наконец, осознала, какую напряженную, придирчивую душевную работу совершал отец, когда читал Книгу. Он упорно стремился докопаться до глубинного смысла ее «сказочек», пропуская их сквозь собственные переживания; ему необходимо было понять, как следует человек путем спасения, открывшимся ему встречей с Господом, легок ли этот путь или невыносимо труден. Кто знает, может быть, отец сам пытался найти этот путь, утерянный им еще в отроческие годы?

Кира задумчиво смотрела на воздушный город-облако, уже разросшийся на половину небосвода. Ею овладело острое желание спустя годы постараться ответить отцу, попробовать наполнить священный текст голосами живых людей. Она прикрыла глаза и вообразила волшебный древний город с башнями, позлащенными лучами гаснущего заката, и его сияющий великолепный храм на горе. Там, под стенами этого храма, сидел человек и, опустив голову, что-то писал пальцем на песке...

В Иерусалиме, великом городе, на самой южной его окраине, около Навозных ворот жила вдова именем Руфь. Мыкала Руфь нелегкую вдовью долю, работала от зари до зари, отбивалась от бедности, как от пса кусачего, но на судьбу не жаловалась – уготовил ей Господь отраду за невзгоды ее, и звалась отрада Ребеккой. Была дочь Руфи в работе спорая, нравом веселая и непокорная.

«Нравом веселая, непокорная, необъяснимо притягательная, – улыбалась Кира своим видениям, – такая, какой сама я не была, но всегда мечтала быть. Пожалуй, ее нельзя было назвать красавицей»...

Встречались окрест девушки и покрасивее, ежели судить о красоте только по чертам лица, и ростом выше и походкой – величавее. Но когда грациозная как лань Ребекка на городских праздниках выходила в круг танцующих, то затмевала первых красавиц. Однажды на таком празднике увидел ее Никодим, сын Рувима-книжника и Иоанны, и вспылала к ней душа его. Родители уже присмотрели невесту любимому своему сыну Никодиму – милую Рахиль, дочь своих соседей, таких же, как они, людей достойнейших. Только Никодим, всегда покорный воле отца и матери, на сей раз не смог совладать с собой и, встретив резкий родительский отказ, занемог, стал чахнуть на глазах. Как ни тверд был его отец, но тут встревожился и, смирив себя, отправил своего слугу к небогатой вдове – сватать Ребекку. Руфь тоже не хотела, чтобы дочь вошла в дом Рувима и Иоанны – чуяло беду материнское сердце. Она знала свою Ребекку – еще не нагулялась, не наплясалась резвая ее овечка – ведь ей едва минуло пятнадцать, только еще входила она в возраст невесты. Но Руфь представила, как сытно и покойно заживется Ребекке в этом обильном доме, и дала свое согласие.

Сколько раз потом, обезумев от отчаяния, проклянет Руфь уста свои, произнесшие слова материнского благословения!

Сладили свадьбу, и Ребекка, как подобает, перешла жить в дом мужа своего. Полетели дни, сменяясь ночами, но не был Никодим счастлив с возлюб-

ленной женой. Что ни вечер, приходили Рувим и Иоанна в сыновний дом для того, чтобы дать молодым мудрые наставления. Никодим, послушный сын, привык во всем следовать их советам, Ребекка же покорности не выказывала, говорила слишком смело, голову вскидывала слишком высоко, чем вызывала у них сильное неудовольствие. Наученный матерью, Никодим пытался повлиять на жену, но она отвечала так, как веками до нее и веками после нее многие юные жены отвечали своим мужьям:

— Никодим, ведь я за тебя вышла замуж, а не за госпожу Иоанну! Тебя я готова слушать, как должно жене, но отчего из твоих уст я слышу только ее слова? Отчего у тебя в голове только ее мысли?

Он обижался, и рос меж ними разлад.

Прошло еще некоторое время, и поползли вовсе дурные слухи – стали замечать, что жена Никодима ведет с молодым соседом, красавцем Матфаном слишком продолжительные беседы, слишком весело смеется в ответ на его шутки и nepoзвoлитeльным образом откидывает покрывало со своей головы. Муж пытался предостеречь ее, но она лишь отшучивалась в ответ.

— Что плохого, – смеялась она, – если я перекинусь парой слов с этим Матфаном? Беседа с ним забавляет меня. Ты ведь, мой господин, и слова не скажешь, не посоветовавшись с родителями своими. А Матфан рассказывает смешные истории. Вот, послушай – вчера поведал мне о каком-то плотнике с севера, из Галилеи, который вместо того, чтобы исполнять свое ремесло, ходит по Иудее, лечит прокаженных и оживляет умерших! Ха-ха-ха! – заливалась Ребекка, и смех ее звенел колокольчиком. – Я сказала ему: «Плотник должен плотничать, лечить людей должны лекари, а умершие – пусть покоятся с миром!» Ха-ха-ха!

Никодим же, преисполненный важности, как учили его достопочтенные отец и мать, отвечал со всей серьезностью:

— Женщина, все правильно ты говоришь: каждый должен знать свое дело и исполнять волю Господа, вот и жена должна чтить мужа своего и рожать детей, чтобы не оскудел их род, а нескромные беседы с посторонним мужчиной приличествуют разве что бесстыдным женам язычников! Не навлеки неразумным своим поведением беду на себя и позор на наш дом!

Так выговаривал он юной жене, не стараясь отыскать в душе своей нужные слова, а лишь повторяя чужие. Наверное, потому и не доходили они до сердца Ребекки, уже охваченного незнакомым ей дотолем огнем.

Каждый день готовилась Ребекка, сурово сдвинув брови, сказать Матфану: «Оставь меня, я – жена мужу своему! Гляди, вот уже и соседи перешептыва-

ются за нашими спинами!». Но румяные губы улыбались ей, глаза-уголья ласкали ее тело под одеждой, и разумные слова не шли у нее с языка.

Вот и случилось непоправимое...

Вечер укутал Великий город, небо вызвездилось, но было темно, луна не возшла. Никодим ждал Ребекку, жена сказала, что ушла навестить свою мать, но почему-то задерживалась. Никодим сидел в беспокойстве на пороге дома и вдруг услышал на улице шум и крики: «Никодим, Никодим, беда с женой твоей! Их поймали в саду за Кидроном!». Никодим вскочил в великой тревоге и побежал, не чуя под собой ног, вслед за теми людьми.

Издаലെка увидел он множество светильников, слышались вопли и крики. Он подбежал ближе – и силы оставили его. Его жену, его возлюбленную волкли по дороге за волосы. Не помня себя, Никодим кинулся к ней, но тут кто-то больно сжал его плечо. Он оглянулся и испугался, увидев отца – столько ненависти было в перекошенном лице Рувима!

Видать, влюбленные, выбрав безлунную ночь, решили уединиться в густом саду, да чужие глаза их высмотрели.

Под городской стеной была яма, туда сажали должников и воров, туда толкнули и Ребекку – дожидаться утра, когда ее выведут на площадь перед всем народом и будут судить. Несчастная Руфь прибежала к яме и, плача, пыталась упротить караульного, чтоб позволил ей поговорить с дочерью, но он только злобно выругался.

Каждую минуту наступившей ночи и следующего за ней дня помнил Никодим до последнего своего часа. Когда, лязгая, опустилась решетка над ямой, он возвратился в дом свой, и так тошен он показался ему, что молодой человек малодушно заплакал. Подняла голову жалость к прелюбодейке, стала кусать его за сердце, как змея, и стал Никодим мечтать, что суд завтра простит его любимую, потому что она так молода и прекрасна. Но тут вновь пришли его отец и мать и объяснили, что нет чернее преступления для замужней, чем то, что совершила Ребекка, и по закону должна она быть наказана в назидание другим! Никодим, как всегда, проникся их мудростью, а жалость-змея в его сердце свернулась клубком и успокоилась.

Рассвело, и опозоренный муж побрел на площадь. Там был уже приготовлен помост для судьи, и вокруг него толпились жители окрестных улиц. Привели Ребекку – волосы всклокочены, на плечах – драная накидка, лицо – бледнее полотна. Испуганным взглядом она обводила молчаливую, грозную

толпу, ища хоть в ком-нибудь искорку сочувствия, но – напрасно!

Судья Шимон взошел на помост. Это был старый человек столь строгих правил, так ревностно он исполнял Закон, так сурово осуждал жителей за малейшие отступления – хоть в делах, хоть в словах, хоть в одежде, что преступница, увидев его, лишилась последней надежды.

Вышел из толпы Рувим и повел свою речь. Взывал он к жителям Святого города, и горьки были слова оскорбленного отца, обличал он беспутную свою невестку и яростью дышали его обвинения.

— Говорю вам: от одной паршивой овцы заболеет все стадо, от неверной жены беда вползет во все дома! – так закончил свою речь достопочтенный Рувим, и толпа одобрительно загудела в ответ.

Тут заговорил судья Шимон:

— Ты, Ребекка, жена Никодима перед Богом, признаешься ли в совершенном тобой прелюбодеянии с Матфаном, сыном Ханны и Надава?

Ребекка что-то неслышно отвечала ему, плечики ее ссутулились, и даже как будто меньше ростом казалась она в тот миг.

А Шимон продолжал:

— Женщина, ты совершила тягчайшее из преступлений, какое может совершить мужняя жена: ты уличена в измене мужу своему, и за это будешь побита камнями, и муж твой, дабы смыть с себя позор, будет участвовать в казни. Да будет сказанное исполнено сегодня же!

И сошел с помоста – неподкупный, праведный, с гордо поднятой седой головой.

Мужчины окружили Ребекку, Никодим схватил жену за правый локоть. Она повернула к нему серое, бескровное лицо и прошептала: «Прости меня!». Жалость опять куснула его в сердце, но он вспомнил наставления отца, что простивший прелюбодейку-жену покроет себя позором до гробовой доски, озлился и посильнее сдавил ее руку, чтобы причинить боль.

Хмурой, страшно молчаливой толпой они двинулись вверх по каменистой дороге. Ребекка спотыкалась на каждом шагу и упала бы, если бы ее не встряхивали за локти и не тащили бы вперед. Изредка поворачивала она к мужу голову, и он видел ее глаза – глаза жертвенной овцы, у которой уже нет сил упираться. Похоже, она никого не узнавала, а только напрягала все силы, чтобы переставлять ноги.

А вокруг занимался весенний теплый день, все ярче распалось солнце, и птицы, равнодушные к людским делам, прыгали по веткам деревьев.

Они медленно миновали город Давида и стали подниматься вверх по крутым извилистым улицам к Храмовой горе. Прохожие жались к стенам, чтобы дать дорогу процессии, мужчины выкрикивали Ребекке непристойности, грозили кулаками, а женщины злобно взвизгивали и плевали на землю в отвращении к мерзости, содеянной прелюбодейкой. Никодим понял, что ждет Ребекку: ее протащат по самым людным улицам, проведут по площади мимо Храма, чтобы видели все, как суров и неотвратим Закон! Потом они выйдут за городские стены и потянутся между желтых раскаленных холмов все выше и выше, к отвесному обрыву, зияющему как жадная пасть. Там столкнут его жену на каменистое дно, и забросают сверху камнями ее прекрасное, смуглое, гибкое тело, столь им любимое и желанное... Никодим напрягал все силы, чтобы исполнить предначертанное Законом как можно лучше, но не мог совладать с глухим отчаянием. Заступничества, казалось, ждать было неоткуда.

Вдруг толпа остановилась, будто наткнулась на препятствие. Они встали полукругом вокруг какого-то незнакомца, Никодим и Ребекка оказались прямо перед ним. Тот сидел на ступеньках под стеной Храма, низко опустив голову, не глядя по сторонам, и пальцем писал что-то на песке. Фома-книжник, чрезвычайно гордый своей ученостью, спросил: «Эта женщина взята в прелюбодейании. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» И звучала в словах Фомы явная насмешка, желание испытать того человека, в чем-то уличить, поймать на слове. А человек молчал, будто не слыша вопрос Фомы, и продолжал указательным пальцем что-то писать на земле. Ребекке вдруг показалось, что она оглохла, – такая отчего-то сделалась вокруг тишина. Ходили, ходили в тот год среди народа смутные слухи, говорили, что появился великий пророк и даже Машиах, и ходит он среди людей и врачует раны на теле и на душе, и одет он в sleпяще-белые одежды, разъезжает на осле золотистой масти, окруженный многочисленными учениками с пальмовыми ветвями в руках. Но человек, сидящий перед ними, казался самым обычным прохожим. Одежда его была неказистая, сандалии запылены, как у путника, прошедшего много дорог.

Кира вновь устремила взгляд в небо, багряное от всполохов заката, прекрасное и тревожное. Ей представилось, что она сама пе-

ренеслась на площадь перед громадой бело-золотого Храма и из-за спин этих мрачных сосредоточенных мужчин старается расслышать живое Слово, увидеть Его, молчаливо сидящего на ступеньках перед двумя юными людьми, замершими в ожидании приговора.

Еще раз повторили вопрос, наконец прохожий поднял голову и взглянул Ребекке в глаза. Лицо его показалось Ребекке самым обычным – темные волосы, ниспадающие на плечи, небольшая бородка. Только вот глаза, казалось, видели самую душу человеческую. А в сердце Никодима притаившаяся дотоле жалость к жене вдруг ожила с невероятной силой, и надежда на спасение пронизала его, как боль. Он и не заметил, как его пальцы отпустили ее локоть и, скользя вниз, переплелись с ее ледяными пальчиками. И они стояли теперь перед незнакомцем, как влюбленные жених и невеста, как нежные брат и сестра. Незнакомец вновь опустил голову, и некоторое время, показавшееся всем вечностью, молчал, все водя пальцем по придорожной пыли. Потом поднял лицо, и они услышали его голос. Обычный голос, никак не громоподобный, но казалось, что слова его, минуя уши, проникают каждому прямо в сердце. Он сказал: «Что ж!... Кто из вас без греха, первый брось в нее камень!». И переводил взгляд с лица на лицо каждого. Тишина стояла звенящая, ветер замер в траве. Вдруг Фома-книжник повернулся и скорым шагом, ни на кого не глядя, пошел с площади. За ним – другой, третий, и все разбежались кто куда.

Вот и не стало страшной толпы, будто не было.

Каждый раз, читая Новый Завет, Кира с особым вниманием всматривалась в этот сюжет. Возможно, огрехи собственной жизни и подсознательное чувство вины вызывали у нее невольные ассоциации с оступившейся женщиной.

Но главное, что ее захватывало и поражало – Его могучая власть над людьми, которая заставляет каждого обратить глаза внутрь собственной души, открыть спасительный путь преодоления греха

и страдания и следовать по нему не из страха наказания, а свободно и осознанно.

Остались на площади трое: незнакомец, все так же сидящий на ступеньке, а перед ним – Ребекка да Никодим, не смеющий верить своему счастью. Тут незнакомец поднялся и, улыбнувшись, спросил Ребекку: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» – «Никто, равви», – чуть слышно ответила она. Он же сказал: «И я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши».

Ребекка повернулась и бросилась к мужу, и он, не таясь, заплакал. Когда же Никодим чуть пришел в себя, то глянул туда, где оставался необыкновенный их спаситель. Но его уже не было. Непонятно, как он мог так быстро уйти?

Они, все еще не веря своему счастью, пошли обратно в Нижний город. На развилке улиц Ребекка повернулась к мужу, и он поразился ее печальному, изменившемуся лицу. Перед ним стояла какая-то другая, незнакомая женщина, много повидавшая на своем веку.

— Никодим, – прошептала она бескровными губами, – прости меня... если можешь!

Он обнял ее за худенькие плечи:

— И ты, милая, прости меня. За то, что струсил... не защитил... слова не сказал...

Тут машина времени вернула Киру обратно, живая картинка фантазии погасла, нить рассказа потерялась. «А дальше-то что было? – напрягала она воображение, но оно буксовало и не двигалось с места. – Вот и папа споткнулся об этот же вопрос: что же было дальше? Они жили долго и счастливо, нарожали детей и умерли в один день? – Кира вновь взглянула на небо, будто ища там ответа. – Нет, не похоже. Они стали проповедниками нового учения, отправились в Рим и были растерзаны дикими зверями на арене амфитеатра? – но и эту картинку ей никак не удавалось оживить в

воображении. Она маялась, не зная, за что уцепиться. – У каждого человека свой путь к Нему, – думала она. – Я и сама шла долгим и трудным путем, порой вовсе теряя Его из виду. Вот и Ребекка с Никодимом вернулись домой, но жизнь свою изменить не смогли...»

Они вернулись домой, но жизнь свою изменить не смогли. Побежали дни, чередуясь с ночами, и ревность к исчезнувшему Матфану стала все сильнее жечь сердце Никодима. Тогда, на дороге казни, он совершенно забыл о сопернике, как о пыли, что отряхиваешь с сандалий, входя в дом. Теперь же обида закипала в нем черной кровью, и он все больше отдалялся от жены.

Меж тем приближался великий праздник опресноков. В последние предпасхальные дни Ребекка вдруг осунулась и стала весьма беспокойна. Никодим видел, что она что-то хотела сказать, но он, лелея нанесенную обиду, не дослушивал ее.

Как-то вечером, перед тем, как отойти ко сну, она приблизила к мужу встревоженное лицо и зашептала:

— Никодим! Один человек сказал мне тайно, что того учителя... понимаешь? – что его поймали римляне... хотят казнить! Что нам делать, господин мой?

Но Никодим раздраженно ответил:

— Женщина, видно, мало ты наделала глупостей на своем веку, что хочешь еще увеличить их! Если того равви схватили власти, а тем более – римляне, стало быть, он виноват в чем-то очень серьезном! Посерьезнее, должно быть, чем освобождать неверную жену от заслуженного наказания! И чем ты полагаешь помочь ему, коли это так? Ты слышала о каннаимах и сикариях? Ты видела их тела, распятые вдоль дорог? Их головы, насаженные на римские копы? Ступай спать и не сердь меня больше!

Ребекка молча и строго заглянула мужу в глаза. Бессчетно вспомнит он потом этот взгляд, ворочаясь на холодной циновке в тоске и одиночестве.

Повернувшись лицом к вечеру пятница – преддверие Великой субботы, и пошли Никодим с Ребеккой в дом родителей его. Войдя под кров сей, почти-

тельно склонила перед ними голову Ребекка, но они и не посмотрели в ее сторону. Когда же расположились за трапезой, Рувим, не глядя ни на кого, сказал:

— Слышали вы? Тот бродяга, о коем болтали, что он – пророк и чуть ли не сын Божий, тот самый, что невиданной хитростью заставил нас нарушить закон, заповеданный праотцами, – тут Рувим грозно взглянул на невестку, – оказался обычным разбойником, что признано Синедрионом и подтверждено римским прокуратором. Обманщика сегодня распяли на Голгофе рядом с двумя такими же преступниками, как он. Вот кого послушались жители Святого города! Обмануть праведных, спасти прелюбодейку от заслуженного наказания у него достало сил, но Иерусалим не обманешь – себя спасти не смог!

Ребекка побледнела, и глаза у нее округлились от ужаса. Меж тем на улице потемнело – огромная туча съела солнце, рванул ветер неожиданной силы, страшная молния ударила от неба до земли, и раскатился такой гром, что сотряслась почва под ногами. Вслед за этим дождь хлынул сплошной стеной, и все, что было живого вокруг – люди, птицы, звери – съехились в своих укрытиях, переживая Гнев Божий. А Ребекка вдруг встала, оглядела дом и семью, взяла лепешку хлеба, накинула покрывало на голову и тихо прошептала: «Прощайте». Скорым шагом вышла возлюбленная Никодима из дома, и стена ливня поглотила ее...

Вымокнув до нитки, дрожа от холода и страха, Ребекка очутилась на окраине города, и по дороге, идущей полого вверх, через некоторое время вдруг вышла к подножию высокого лысого холма. Небо уже совсем почернело, ярко сияла луна, и в ее мертвенном свете Ребекка увидела на вершине три пустых столба с перекладинами наверху. Вокруг не было ни души, дышалось тяжело, гроза совсем не освежила воздух. «А себя спасти не смог», – ударило Ребекку, как кнутом. Она повернулась и побежала назад, в город. Сердце бешено колотилось, она наугад свернула на одну улицу, потом на другую, окончательно запуталась в лабиринте улочек и вдруг оказалась перед очень красивым, просторным дворцом с колоннадой по всему периметру. По углам ярко горели факелы, слышалась чья-то размеренная поступь. У Ребекки от усталости подкосились ноги, она выбрала место под раскидистой смоковницей и, свернувшись клубком на земле, горько заплакала.

Ей всегда казалось, что все ее любят, восхищаются ею, но они только обманывали ее. Обманывал Никодим, клявшийся ей в вечной любви, а сам, вцепившись в локоть, вместе со всеми волок ее на казнь. Обманывал Матфан, шептавший на ухо слова, от которых она таяла, как смола от огня, а когда их

застали вместе в саду, даже не попытался защитить ее и только кричал: «Она сама пришла сюда!» Даже мать обманула ее, когда сказала: «Иди, дочка, в дом к сыну Рувима – там жизнь твоя будет полной и благочестивой». Но хуже всех обманул ее человек, сидевший тогда под храмовой стеной. Она так поверила в его чудесную силу, думала, что вся жизнь ее изменится после встречи с ним, а он оказался обычным бродягой, преступником, заслужившим позорную мучительную казнь. Отчаяние все сильнее схватывало ее за горло, ей хотелось умереть. Зачем он спас ее? Для того, чтобы она сейчас вот так мучилась – одна на всем свете, никому не нужная, отверженная, проклятая?

Вдруг Ребекка почувствовала чье-то прикосновение. Она вскочила на ноги и замерла в испуге. До сих пор она видела римлян лишь издалека, а теперь прямо перед ней высился мощный солдат, лицо его наполовину скрывали боковые пластины шлема, грудь закрывала кольчуга с бляхами, сильные руки и ноги были голы и блестели в неверном свете факелов. Он смотрел на нее сверху вниз и что-то спрашивал на своем языке. Ребекка молчала, не понимая. Мало-помалу его суровое лицо смягчилось, подобие улыбки скривило его губы. Он кивнул ей, приглашая следовать за ним...

Наутро, когда солнце выкатилось из-за гор, Ребекка покинула Иерусалим. В руке она несла небольшую котомку с едой, а под покрывалом, на поясе – кожаный мешочек с несколькими монетами, что дал ей солдат. Одежды ее так и не просохли с ночи, ее лихорадило, все тело ныло от грубых, слишком страстных объятий изголодавшегося римлянина, на душе было пусто. Она подошла к небольшому озерцу, скинула одежду, окунулась в прохладную воду, потом поела и прилегла отдохнуть. Закинув руки под голову, она смотрела в чистую высокую синеву над собой и шептала, обращаясь к кому-то: «Ты сказал: «Ступай и не грешь более». Я поверила тебе, и что же? Как не грешить? Может, лучше с голоду умереть или на кресте, как ты? Только, я думаю, грех этот невелик, ты же сам сказал, что не осуждаешь меня. И никто тогда не осудил меня. И вот я живу и буду жить, а что грешить придется – значит, так мне на роду написано».

Она давно слышала о городе на берегу Великого моря, который построил царь Ирод в угоду римскому правителю. Там вольная, веселая жизнь, много богатых римлян и иудеев, там она затеряется среди незнакомых людей и забудет свое прошлое. Но путь до желанного города займет много дней, нужны деньги и пища. Что ж? У рыбаков есть рыба, у пастухов – мясо, у виноградарей – сладкие грозди, а у нее – миловидное лицо, озорные уста, гибкое податливое тело, да в придачу – умение танцем умягчать самые очерствевшие

мужские сердца. Раз судьба определила ей заниматься таким ремеслом – им она и будет кормиться.

Много раз луна сменяла солнце на небосводе, а Ребекка шла, держа путь на север. Она останавливалась у рыбаков и пастухов, иногда проводила с ними день-другой, но нигде не задерживалась подолгу – опасалась, что кто-нибудь узнает ее. Кесария была все еще далеко, а силы Ребекки убывали день ото дня – с той ночи, которую она провела в яме, к ней привязалась лихорадка, и ее бросало то в жар, то в холод. Когда становилось совсем невмоготу продолжать путь, Ребекка постилала небольшую циновку под деревом в стороне от дороги и пыталась отдохнуть и немного поспать, но это ей плохо удавалось.

Только лишь наступал вечер, сухая черствая земля быстро остывала, от нее начинало тянуть холодом, лихорадка набрасывалась с новой силой, терзала жажду. Ребекка смыкала веки, и ее начинали тревожить тяжелые сны. Она видела женщину, лежащую на полу своего жилища – седые волосы разметались на каменном полу, тело сотрясается от рыданий. Изнывая от жалости, Ребекка говорит ей: «Прости меня, свою дурную дочь! Я даже не нашла смелости заглянуть к тебе перед уходом и попросить у тебя прощения!» Но напрасны слова утешения – женщина почему-то не слышит их и продолжает стонать от невыносимой душевной муки.

В другой раз снился ей покинутый муж Никодим. Он ворочался без сна на своей циновке в пустом доме, плакал и звал ее:

— Вернись, возлюбленная моя! Пошли весть о себе, дай знак, как найти тебя! Не нашли мы с тобой нужных слов, а нашли разлуку. Надо было мне, малодушному, в ту страшную грозу бежать за тобой, не мешкая, я же остался. А теперь понял я, что без тебя не будет мне жизни.

Ребекка просыпалась и принималась плакать от тоски и страха – одна-одинешенька в непроницаемой ночи, под огромным темным небом, усеянным холодными звездами.

Однажды в отдалении ей почудился мерцающий огонек, и она побрела туда. Это был небольшой костер, около него сидели пастухи – один в годах, другой молодой. Ребекка почуяла овечий запах, услышала бление близкого стада. Она уже не думала о Кесарии, а мечтала только об одном – чтобы ей позволили прилечь около костра, погреться у его пламени. «Мир вам», – только и сумела произнести она, и силы оставили ее. Она смутно помнила, как ее положили на овечьи шкуры, накрыли рогожей. Лихорадка не отступала, ее била дрожь. Кто-то склонился над ней, приставил к губам чашу с горячим травяным настоем, велел: «Ну-ка, пей». Она сделала глоток, другой, и в изнемо-

жении откинулась на овчину. Пастухи опять уселись у огня и продолжали свой тихий разговор.

— Пришли к гробнице, а камень отвален. И внутри – никого! Одни пелены, – говорил старший.

— Никогда не поверю. Врут люди, – отвечал голос молодого. – Там стража римская караулила, мимо них имышь не прошмыгнет. Кто это мог подкрасться, открыть гробницу да еще и тело выкрасть, и чтоб никто ничего не заметил? И кому нужно тело красть? Власти дозволили похоронить его как должно, в гробнице почтенного человека, умастить тело маслом и благовониями.

— То-то и оно! – вполголоса соглашался старший. – Дело немыслимое, непонятное. Говорят люди, что будто бы видели его живого, – тут говоривший так понизил голос, что Ребекка совсем ничего не услышала и провалилась в сон.

Сколько времени прошло – Ребекка не знала. Она проснулась и, не шевелясь, сквозь спутанные волосы смотрела на пляшущий огонь.

Молодой пастух, посапывая, спал, старший караулил костер. Отблески пламени освещали его дубленное солнцем и ветром лицо, отражались в его зрачках. Ребекка заметила, что он смотрит на нее.

— Не спишь, женщина? – тихо обратился он ней.

— О ком это вы говорили? Кто ожил после похорон? – спросила Ребекка. Он улыбнулся и вдруг сказал:

— Тебе ли не знать, дитя?

Ребекка испугалась – больше всего она боялась встретиться с человеком, который бы знал ее прошлое.

— Ты меня знаешь? – прошептала она.

— Был в тот день в Иерусалиме, приносил ягненка в Храм, – и он взглянул на нее так ласково, что страх ее совсем прошел, и она поняла – этому человеку, как отцу, можно открыть сердце.

Вдруг слезы закипели у нее в глазах:

— Так это вы о нем говорили? Его убили! Судили, как преступника, и казнили вместе с разбойниками! Я поверила ему, а он... обманул меня...

Лицо Ребекки перекосилось, как у ребенка, и она громко, не сдерживаясь, заплакала. Пастух вздохнул, сел рядом и положил ей руку на голову:

— Ты так ничего не поняла тогда, дитя мое! Вспомни, что рабби сказал тебе и обвинителям твоим! Он велел любить! Он учил прощать! И вот что я скажу тебе: говорят, что Он жив, есть люди, которые видели Его, беседовали с Ним, преломляли с Ним хлеб. Они продолжают тайно, бесстрашно проповедовать

Его учение! Постарайся увидеть Его... Постарайся услышать Его!

Ребекка, всхлипывая, смотрела на огонь остановившимся взглядом. Слезы отчего-то принесли облегчение. «Ступай и больше не греши», – вспомнила она и вдруг ужаснулась: «А я как живу? Я – пустое семя, брошенное на камень! Только горе приношу любящим меня».

Тело Ребекки горело от внутреннего жара, но голова была ясной. И она решилась: «Я не сумела исполнить по слову Его. Но я буду искать дорогу, которую Он мне указал... пойду назад, в родные места! Пойду к мужу, повинюсь перед ним, попрошу разводную. Пусть женится на достойной девице, родит детей, продолжит свой род. А после вернусь к матери, и мы уйдем из Иерусалима, поселимся где-нибудь в другом месте. Буду работать по дому, лелеять ее старость и молиться, чтобы вновь заслужить Его прощение. Завтра же утром отправлюсь», – пообещала она сама себе. Но вдруг какой-то внутренний голос так отчетливо, что она вздрогнула, произнес: «Завтра не будет»

Она легла навзничь, устремила взгляд в высокое, сияющее звездами небо, и ей показалось, что кто-то смотрит на нее чудесными, любящими глазами.

— Ты и вправду не умер? – прошептала она.

— Смерти нет, – послышалось в ответ.

Ребекка улыбнулась. Лихорадка наконец оставила ее, ломота в висках прошла, и душа ее исполнилась радости, искрящейся и светлой, как родник.

Ранним утром, едва первые лучи солнца осветили небосвод, пастухи выкопали поодаль дороги могилу, завернули тело женщины в холстину, и положили ее туда.

— Жалко... Молодая, красивая... Не знаешь, кто такая? – спросил молодой пастух у товарища.

Тот пожал плечами:

— Кажется, она из Иерусалима.

— Не про нее ли ты рассказывал, когда пришел оттуда?

Но старший ничего не ответил, и молодой настаивать не стал.

Пастухи насыпали над ней небольшой холмик и накрошили сверху зерна, чтобы птицы небесные, лучшие певцы Господа, слетались к ней на могилу и пели ей свои песни.

Кира открыла глаза. Закат погас, облако изменило форму и, уже не похожее на золотистый город, растянулось по темнеющему небосводу.

«Ответила ли я на твой вопрос, папа? – думала Кира. – Нелегко путь Истины, порой и целой жизни не хватает, чтобы приблизиться к ней».

«Вот и все, – спокойно говорила она себе, прислушиваясь к безостановочному тиканью часов. – Жаль, что книгу о своих родных так и не написала. Хотя... как знать? А может, хорошо, что не успела! Наверняка пришлось бы что-нибудь додумывать, домысли-вать за них, ушедших, у которых уже нет возможности одернуть сочинительницу, поправить ее вымысел. Наверное, они получились бы не такими, какими были в действительности. Зато я этот день провела с ними, с их подлинными дневниками и письмами. И свою жизнь вспомнила – любовь, молодость, надежды, – будто заново ее прожила».

Кира вздохнула и благодарно улыбнулась: «А ведь это путешествие в прошлое, эта воображаемая книга – тоже Твой подарок. Спасибо Тебе. Путь кончен, я прошла его, как умела, – спотыкалась, падала, поднималась, боролась со страстями, пасовала перед обстоятельствами, теряла веру, роптала, унывала, отчаивалась, сомневалась в Твоей благодати. И сейчас, в этой точке пути, откуда нет возврата, страшусь я лишь Суда Твоего».

Тут Кира, теперь уже совсем без всякого страха, взглянула на Гостью и вдруг, в порыве неожиданного любопытства, спросила:

— А где же твоя коса?

И впервые услышала ее голос – бесцветный, негромкий, будто шелест не успевших облететь осенних листьев:

— Э-э, чего вспомнила! Коса! Зачем мне теперь коса? Это в старое время сил у меня было мало, я тощая была – скелет да и только! Тогда без косы и не справилась бы! Ну, а к теперешним временам род людской меня гляди как раскормил! – и Гостья раздвинула руки, чтобы Кира могла оценить ее тучность.

А потом размахнулась и со всей силы ударила Киру в плечо тяжелой толстой рукой. Боль пронизала Киру до кончиков пальцев, дыхание перехватило. «Прощай!» – крикнула она сыну в последней безумной надежде, что он как-нибудь услышит этот крик на другом конце огромного города, и вылетела в темнеющее, искрящееся звездами безбрежное небо.

ЭПИЛОГ

Поток воздуха уносил Киру все выше и выше. Огни Москвы остались далеко внизу, а затем и вовсе исчезли из виду. Не было больше ни боли, ни страха, ни тоски. Вокруг сияли звезды, одна казалась ярче и теплее остальных. Кира устремилась к ней и, достигнув своей цели, увидела, что это – ярко освещенная праздничная комната. Кира остановилась на пороге и заглянула в стеклянную дверь. Слышались голоса, смех. Посреди комнаты был накрыт большой праздничный стол, за ним сидели люди. Прекрасные и веселые, они увлеченно беседовали друг с другом, потягивая вино из звонких бокалов зеленоватого хрусталя. Кира знала их всех, хотя некоторых видела только на семейных фотографиях. За столом хозяйничала бабушка, красивый седовласый человек играл одновременно на губной гармошке и гитаре, ему подпевали две женщины – одна моложавая, золотоволосая, другая – молодая, в обильных, чуть рыжеватых кудрях. Молодая первой увидела Киру и что-то радостно ей закричала. И, засмеявшись от счастья, Кира толкнула дверь, шагнула в комнату и протянула к ним руки.

Содержание

ПРОЛОГ.....	3
Часть первая. НА ВЕТРАХ ЛЮБВИ	11
Глава 1. О роковой роли нижнего белья	11
Глава 2. О коварстве хмеля	25
Глава 3. Утро. Кухня. Рукомойник	60
Часть вторая. ПОД ПАРУСОМ НАДЕЖДЫ	85
Глава 1. Надежды маленький кораблик	85
Глава 2. Чертоги златые	115
Часть третья. К СВЕТЛЫМ БЕРЕГАМ ВЕРЫ	131
ЭПИЛОГ	179